

Антон Лук



Жизнь решает
все

Наират

АНТОН ЛИК

Жизнь решает все

«Снежный Ком»

2020

Лик А.

Жизнь решает все / А. Лик — «Снежный Ком»,
2020 — (Наират)

ISBN 978-5-904919-55-9

Наират застыл перед бурей. Ясноокий каган при смерти. Его наследник, тегин Ырхыз, безумен. Сегодня столица славит дальнего родича кагана, Агбайнойона, но ведь чернь — как собака. Кинь кость — полюбит, а покажи плоть — подставит брюхо. Вторая книга дилогии «Наират» — не просто темное фэнтези. Когда фэнтези пересекается с фантастикой, получается — научное фэнтези.

ISBN 978-5-904919-55-9

© Лик А., 2020
© Снежный Ком, 2020

Содержание

Пролог	6
Триада 1	7
Элья	7
Бельт	20
Туран	34
Триада 2	48
Элья	48
Бельт	64
Туран	77
Триада 3	88
Элья	88
Бельт	101
Туран	112
Триада 4	126
Элья	126
Бельт	134
Туран	149
Триада 5	165
Элья	165
Бельт	179
Туран	191
Эпилог	207

Антон Лик
Жизнь решает все

Серия «Снежный Ком: Backup»

* * *

Пролог

Меня убивали сегодня, в четверть третьего пополудни, в собственных покоях, некогда блиставших золотой вышивкой по настенным кожаным. Я помнил каждый рисунок, каждую выпуклость и переплетение тяжелых нитей.

Я часто любовался ими, часто заставлял других дрожать в страхе перед вязью канители и жемчуга. Да и умирал я далеко не впервые.

– Алым, закрой окно! – впрочем, мой голос еще был тверд. – Свет убивает меня.

– Но свежий воздух... – Его шаги тяжелы, как поступь голема.

– Закрой, пёс.

Заскрипело дерево, зашуршала ткань, и огненные иглы перестали терзать мои глаза. Приходится выбирать каждый день – задыхаться или сходить с ума. Шелковая простынь неструганной доской заскреблась по воспаленному лицу.

– Мой каган, снова прибыл Агбай-нойон...

– Завтра.

Я давал это обещание вчера. И позавчера... Надо исполнить. Явить миру хозяина, показать, что не ослабла рука, плеть держащая. Рука дающая. Рука берущая.

– Пить.

Горькая вода провалилась внутрь, в гнилую дыру, что поселилась в теле.

– Агбая славят в городе, – произнес Алым. – Люди его любят.

– Чернь как собака: кинь кость – полюбит, покажи плеть – подставит брюхо.

Всевидящий да спасет их... Потом, когда уйду.

А кто останется?

Ырхыз? Говорят – твой сын. Нет, сын запертого замка Чорах. А потому – чужой.

Юым? Маленький и слабый щенок суки, которая навечно останется второй. К тому он болен, если верить Кырым.

– Хан-кам говорит...

– Молчи, пёс!

Выбора нет. Агбай, Урлак... Это не выбор, это смерть.

Веки терли по глазам грубыми точильными камнями, стесывая остроту, убивая некогда великолепные лезвия... Хотелось уснуть, но за это придется расплачиваться такой вот стружкой и заусенцами.

– Ясноокий, ваши кунгаи готовы.

Готовы. Ждут, когда им укажут, кого резать. Сыновей-волчат? Друзей-волков? Приближенных-шакалов? Чья смерть решит хоть что-то?

Амулет лежал там, где и должно – в изголовье кровати. Прохладный, тяжелый. Наверное, он взлетел красиво и также красиво обернулся в полете, перемигиваясь разноцветными сторонами. А потом упал точно на мою ладонь.

– Алым, сторона!

– Белая, мой повелитель.

Врет. Я знаю каждую трещинку на этом треклятом амулете. Белая сторона жмет к потной коже, а черная смотрит на меня слепым глазом.

Вот и Всевидящий сказал, но...

– Приказов не будет. Пусть кунгаи отдыхают и пьют за здоровье кагана.

Слишком уж часто в важные разговоры, путая их истинный смысл, стала вмешиваться смерть.

Триада 1

Элья

«Ты думаешь, это – истина? Нет, это ложь, которую тебе позволили увидеть.»

Из ересей побережников.

По уму, чтоб добраться до неба, надобно хорошенько покопаться в земле.

Могильщик Лумеш.

Корабль идет.

За победой ли, за смертью движется по ломаной волне навстречу врагу. Позади – чернота скал, почти уже не видная за деревянной громадиной. Да и чего смотреть на далекие невзрачные камни, когда бьют по глазам пурпуром и золотом паруса с вышитым жеребцом. Не просто корабль, но могучий кобукен, видом подобный черепахе! Панцирь его сияет стальными бляшками-щитами, прячет кунгаев Агбай-нойона от стрел и ядер. Стены усилены железными полосами и девятью слоями древесины, крыша зеленой кожей сарак-зверя зашита да разрисована клыкастыми мордами. Но есть в панцире оконца, и глядят из них длиннорылые пушки, выцеливают слабинку у противника; есть и дверцы, через которые пойдут в бой воины. Совсем скоро, вот только просадит борт вражеского корабля голова-гаран, рванет высеребранными клыками, поднимет ловко на иглы гребня, дыхнет в лица обреченных желтоватым дымом из пасти.

Шуршат весла – ловят волны, гудят паруса – ловят ветер, скрипят големы – вытягивают жилы. И кажется жалким враг – малый кобукен побережников, аляповато расписанный родовыми узорами мятежных кланов. Вот-вот. Сейчас. Уже...

Треск ломающегося борта заглушил даже сухой грохот пушек. А дальше вновь ударили орудия, высылая искрящееся пламя и затапливая оба корабля дымом. Кобукен побережников дрогнул, просел и откатился. Часть защитных пластин снесло, открывая проходы к внутренностям. В них уже скалились и шипели белые лица, порхали наготове короткие сабли, топоры, дротики и ножи. И снова пушечный гром отступил, но теперь уже перед ревом отборных бойцов Агбай-нойона, верного слуги кагана Тай-Ы, хозяина золотого жеребца на пурпурном поле. Взвились и опали веревки с крюками, выплетая опасные сходни, а с крыши на крышу уже перебрасывались мостки, перелетали в диких прыжках абордажники. Кто-то – удачно, перекачываясь, привычно и красиво вскакивая на ноги; кто-то – не очень, расшибая грудину о деревянные и железные ребра; а кто-то – и совсем плохо, срываясь вниз, в жернова бортов и платформ. Впрочем, таких было мало. Но все равно первыми шли смертники: легкие кожаные куртки не защищали от тычков копий и косых сабельных ударов, а небольшие щиты раскалывались под топорами. По стенам надстройки алыми потоками заструилась кровь – щедро, много, будто кто-то старательно плескал ею из бездонных ведер. Но и мятежникам приходилось тяжело: то и дело кто-то белолицый вырывался, выпадал измолотым куском из монолитной плоти вражеского корабля.

Жищники раздирали друг друга. Дрожал толстошкурый Агбай-кобукен, рычал могучий кобукен-мятежник. Но была в рыке последнего неуверенность, малая, понятная только тем, кто взламывал на полном скаку вражеский строй, разметаю его латной грудью коня, собственным напором и ударом кончара. Ровно этого и хватило бойцам Агбай-нойона. Вырываясь из одного дымного облака, они бросались в другое, ловко проносясь по шатким мосткам. С мачт, разбе-

гаясь по каким-то особым жердям, прыгали и вовсе безумные воины в пестрых лентах, подвязанные длинными шнурами за широкие пояса. У каждого в руке – по большому ножу-крюку. Два, три, четыре таких ярких ядра-человека врзались в главный парус кобукена побережников, впились страшными лезвиями в полотнище и устремились вниз, взрезая тугую ткань и живой остров, изображенный на ней. Длинные раны быстро перечеркивали рисованную гордость мятежников, их символ, их силу. Но защитники у основания мачт встречали летунов размашистыми ударами, и было уже не понять, что это разлетается алыми струями – кровь или цветные ленты боевой одежды.

Мятежники приняли вторую волну нападавших, втянули, впитали ее сквозь пробоины и проломы. Стало ясно, что главная схватка теперь внутри и вовсе еще ничего не решено.

Снова дрогнул Агбай-кобукен, заскрипела платформа, и корабли разошлись. Только для того, чтобы совершить маневр, развернуться другим бортом и сцепиться снова.

Громче и громче стучат барабаны. Оглянись и увидишь, как мелькают смуглые руки Хариба, прозванного Многоруким. Как пружинят, едва коснувшись тугой кожи, корявые пальцы. Как сверкают на них кольца, как сияет золоченая спица в губе. Ухмыляется Хариб, все-то ему нипочем.

И Ёрге тоже.

*Ну-ка, ну-ка веселее!
Хей-хей-хей!
Саблю в руки и скорее!
Хей-хей-хей!
Режь и бей! Гуляй и пой!
Хей-хей-хей!*

– Коль удача за тобой! – шепотом пропел последнюю строку Ёрга. Сабля, конечно, хорошо, но здесь, в узости трюмов и внутренних коридорчиков лучше ножи. С широкими в три ладони длиной лезвиями да рукоятями, самолично акульей шкурой обтянутыми. Именно такие ножи, как у него. Немало послужили они, а глядишь, и еще сыграют.

Ёрга все-таки обернулся: так и есть, скалится Многорукый, клыки свои подпиленные показывает да щербину в передних зубах, но она – вовсе не зубовных резчиков работа, а кхарнских морских молодчиков.

Хей-хей-хей! Уж поскорее бы! Медлят, маневрируют, демоны их побери, ждут и выгадывают. Сколько ж их? Никак не менее шести десятков оружных. А все едино, последний бой, хей его так! Последний дым, последний ветер, последний раз споешь, глотку сдирая, последний раз, коль Всевидящий попустит, чужое брюхо вскрыешь.

Жаль чаек тут нету, вот бы повеселились, дурные девы, попили б кровушки. Без чаек бой не бой. Все вот есть, а их, крылатых, не хватает. Не по-настоящему без чаек-то.

Заскрипели платформы, натянулись канаты, и закрутился кобукен в длинном, противоположном повороте. Другой борт подставляет. Были бы там нормальные пушки, дали бы залп по Агбаю, а так...

Ну же! Хей-хей-хей! Не слышите, разве? Вперед! Во славу Великого!

*Хей-хей-хей!
Ну-ка, братцы, не робей!
Власть со сталью попляши,
Будет праздник для души!*

– Хей-хей, – засвистел Думна, подбросив вверх копьцо. – Суходраев бей! Веселее, Харибка! Сейчас снова пойдут, а мы-то их и расчеломкаем.

Плохо только, что все они на цепи посаженные, пусть длинные да легкие, а все собачьи. Тут ни наверх выпрыгнуть, ни вглубь отступить не выйдет. Только и есть, что стоймя стоять, а потом и ложиться под ноги суходраям.

*Хей-хей-хей!
Ну-ка, братицы, веселей!
Вот удача, вот аркан,
Будешь мертв ты
Или пьян!*

Справа и слева зарычали пушки.

– Ложись! – Думна растянулся на досках, закрывая голову, и Ёрга припал рядом, подкатился к самому борту, свернулся калачиком. Всевидящий да девы морские, вашей милостью едино... Корабль содрогнулся, глотая ядра, плюнул мелкой щепой, свистнул оборванными снастями, заскрежетал предупреждающе.

– Подъем, сучьи дети! Сейчас будет! Стучи, Харибка, стучи в последний раз!

И Харибка стучит. Мелькают руки, отзываются барабаны.

То ли на звук, то ли на запах крови несется кобукен Агбай-нойона.

Идет сверкающий кобукен Агбай-нойона, развернувшись к зрителям тем боком, с которого аккуратно снята обшивка. Удалена она так грамотно, что все внутренности корабля отлично видно с трибун, сооруженных в полусотне метров от плотно утопанной площадки. Три палубы, каждая в своем цвете, лестницы и платформы с живыми растениями, с дикими зверями, которые, взбудораженные шумом, мечутся в клетках; с людьми, вооруженными копьями, с актерами, акробатами и огнеглотателями. Вон и барабанщик, которого почти не слышно за выстрелами, и особая вахтажка смертинков в синих робах – настоящие мятежники, плененные Агбай-нойоном.

Тужатся, тянут големы за собой колесные платформы, вязнут железные ноги в зеленом песке и мелкой гальке, которой щедро посыпана поляна. А между платформ, суетливы, мечутся тройки слуг, тащат на шестах ультрамариновые полотнища, волны рисуют. Правда, на волны вовсе и не похоже, ну да в Ханме мало кто видел настоящее море.

– Не стоит волноваться, моя драгоценная сестра, у них особый карнавальный порох и совсем нет ядер, – сказал Агбай-нойон так, чтобы слышали все, находящиеся на помосте. – Только яркие искры... Хотя в том бою, под настоящим обстрелом, нам пришлось несладко.

И вправду, левый борт серого корабля затянуло дымом, а пушки только ярче засверкали огненными брызгами. В следующий миг таран кобукена ударил примерно в то же место, что и первый раз, но с другого борта. Оба корабля сцепились носами и снова застыли углом, но теперь уже открытыми боками к зрителям.

Музыканты по команде взвились. Музыка, громкая, суматошная заглушила треск дерева и скрип големов.

Агония.

Но нет, не сейчас. Слишком долго готовилось зрелище, чтобы позволить ему закончиться вот так. И повинувшись приказу распорядителя, замирают, упершись когтями в землю, големы. В этот миг они и вправду подобны чудищам морским, каковых и изображают на потеху всей столице.

Грандиозное действо, не то казнь, не то театральное представление, а правильное сказать – и то, и другое. Но с размахом: два огромных кобукена и полдюжины кораблей помельче маневрировали, к удивлению, восхищению, ненависти и зависти толпы.

К вящей силе и славе Наирата.

Отсюда и не разглядеть простолюдые, сокрытое где-то за рисованными скалами, однако Элья уже предостаточно насмотрелась на наирцев. Наверняка свистят, толкаются, орут, подбадривая и проклиная, делая ставки и ярясь, что вот-вот проиграют. Хотя чего уж тут, сегодня победитель известен. Сегодня день величия кагана.

И Агбай-нойона заодно.

Сегодня тегин Ырхыз снова не сможет спать.

– Мы схлестнулись у мыса Джувар, моя драгоценная сестра. Непонятно, кто кого заманил в западню узкого пролива, скрывающегося меж скал и рифов, – Агбай-нойон распротер руки над задымленным полем. Измазались пылью тканые волны, почти легли на крашенный песок – утомились бегать, задохнувшись предлетней жарой слуги. Но и без них волн хватает: ползут по полю клубы порохового дыма, обволакивают черные глубины, которые уже и настоящими рифами в настоящем море кажутся.

– Они были неуязвимы, ибо, подобно вермипсу, покрыты толстой броней, что не пропустит ни огня, ни стрелы, ни даже ядра! Сами же они плюются ядом и огрызаются орудиями, каковые в превеликом множестве снимают с захваченных кораблей! Особенно с кхарнских. Но взгляни, сестра, я вырвал их клыки и привез сюда, дабы потешить тебя и моего повелителя, да пребудет с ним милость Всевидящего.

Агбай-нойон скрестил руки и низко поклонился, не каганари – крытому пурпурному паланкину, поставленному на особом возвышении.

Не шелохнулся полог, не открыл глаз диван-мастер, и только один из кунгаев фыркнул беззвучно, отгоняя назойливую муху.

– Туман обманул их и нас. Мы считали, что их больше, они – что нас меньше. Вообще решающим был разгром побережного замка Фюхр, а морские баталии стали лишь ярким довершением начатого. Итак, я вступил в бой, уповая на моего «Агбу» и кунгаев! Три вахтаги храбрцев, воинов, каждому из которых не сыскать равного, рвались в бой.

Вторая линия кораблей, состоящая целиком из пузатых кёггов, выстраивалась правильной дугой. Неуклюжие, гротескные, с завышенными бортами и шипастой броней, с нелепо короткими мачтами и шелковыми парусами, они меньше всего походили на что-то плавающее. Может, оттого и бой устроили на суше, а не на воде?

У воды было бы не так жарко.

– У Джувара сложно маневрировать – сплошные скалы и рифы. Видимо, проклятый Мюнгюн и рассчитывал на наше неумение. Но к тому времени у нас уже были хорошие моряки, знавшие те воды. И вот мы...

Агбай рассказывал историю, за последний месяц слышанную Эльей в самых разных вариациях. Но сейчас она слушала внимательно и смотрела то на постановочную битву, то на людей, собравшихся на помосте. И там, и тут – интересно.

Вот стоит Агбай-нойон – победитель, с именем которого жила все эти дни толпа, за чей хлеб и медь она дралась, кому готова была поклясться в верности, пусть и лживо. Он высок, и тяжел даже на вид, особенно в нынешнем, праздничном наряде. Лицо его из-за пышных щек кажется идеально круглым, на нем почти теряются серые, тусклые глаза и крохотный курносый нос, зато внимание привлекает длинная, заплетенная в косицу и перевязанная алой ленточкой борода. Хвосты ленты свисают до самого пояса, а хвосты пояса – до носков белых сапог. Сапоги – подарок кагана, и Агбай-нойон не упустил случая продемонстрировать это такое расположение – халат его на две ладони короче обычного. Впрочем, Элья знала – нойон рассчитывал на иной

дар. И продолжает рассчитывать, и нервничает – вон рука то и дело поглаживает узорчатую плоть.

Надеется. И ради его надежды длится невиданная забава, хлещут друг друга внутри ненастоящих кораблей ненастоящие солдаты ненастоящими саблями. Или настоящими? Вон пока-тилась чья-то голова, расплескивая темное. Или это искусная бутафория? Бой в трюме только начался и как знать, сколь долго еще продлится.

Каганари, в отличие от брата, спокойна. Она сидит, окруженная словно стражей, личными прислужницами, их наряды и прически одинаковы, а лица, покрытые толстым слоем белил, выглядят масками. Не женщины – големы. И каганари – их повелительница.

А на поле големами повелевают те, кому и положено – камы-погонщики, облаченные волей нойона морскими коньками. Ошипованные, угловатые, неуклюжие. Шуты на день.

– Бездарная трата ресурса, – вздохнул Кырым, поглядывая то на них, то на человека, замершего в тени великого Агбая. Рыха-Ар, тоже кам, но всецело преданный хозяину и каганари. Рыха сидит на приморских факториях, а значит и эман от них идет через его руки.

Элья еще не решила, как стоит ей относиться к Рыхе. Пока он вызывал лишь вежливое любопытство. Низенький, квадратный, с лысой – вот уж редкое явление среди наирцев – головой, он был уродлив. Желтоватая шкура его собиралась крупными складками, в которых тонула и шея, и руки кама. Складки свисали зобом, складки сползали на ладони, до самых кончиков пальцев, в складках прятались глаза и складками же тяжелели брови, и только затылок Рыхи оставался гладким и мягким на вид.

А внутри кобукена нападающие в коричнево-серых цветах Агбай-нойона снова мозжили головы противников крупными и какими-то ненастоящими с виду, но страшными молотами. Удар барабана – удар молота, барабан – молот, барабан – молот, удар, удар, удар!

И снова каганари Уми. Ей двадцать, но выглядит она старше. Это из-за золотой краски, нанесенной на кожу. Золотом сияет также прическа и наряд, пряча супругу кагана в желтом сиянии. Впрочем, Элье довелось видеть ее и в ином облачении. Уми и в самом деле удивительно красива: крохотная – едва ли не на голову ниже Эльи, с мягкими полудетскими чертами лица, пухлыми губами и черными, с поволокой глазами, она была не женщиной – девочкой, вечным ребенком.

Но дитя на руках кормилицы свидетельствовало об обратном. Благословенный князь Аххры, Юым-шад сосал большой палец и с выражением крайней сосредоточенности наблюдал за разворачивающимся зрелищем. Пожалуй, он был самым благодарным зрителем. А еще наиопаснейшим соперником Ырхыза, хотя вряд ли догадывался об этом. В данный момент Юыма больше интересовала грудь кормилицы, прикрытая от пыли платком, и корабли, что вновь пошли на сближение.

Крохотные фигурки на канатах и в трюмах, пляски безумцев, играющих в битву, притворщиков-актеров и воинов, обреченных на гибель по-настоящему. Как разобраться, кто из них где? Вот тот, что сорвался с мачты, рыбкой нырнув в матерчатые волны. Выполнил трюк или и вправду не сумел удержаться?

Юым-шад захохотал и захолопал в ладоши. Но тут же бледное личико его скривилось, брови сошлись над переносицей, а из кривого рта донеслось мяуканье. И кормилица привычным жестом приподняла платок, заголив грудь – кожистый бурдюк в синеватых жилках сосудов – сунула сосок ребенку. Юым-шад тотчас успокоился. Ырхыза передернуло.

В середине кобукена человек несуразно высокого роста – по всему, поставленный на ходули – размахивал нарочито огромной саблей, разгоняя полчища карликов. Лицо его было прикрыто черно-желтой маской, волосы из пакли свисали до земли, а сусальная позолота доспехов слепила.

Верно, это и был славный Агбай-нойон, повергающий мятежников. А тот, что пониже, пошире да понеключей, обернутый в несколько слоев пыльной мешковины, явно изображал Мюнгюна, предводителя побережников.

Голова же Мюнгюна настоящего, изрядно подгнившая, венчала гребень носовой фигуры корабля.

Веревочные лестницы, связавшие корабли друг с другом, наполнились людьми. Деревянные доспехи, деревянные мечи, клубы пламени, которое скатывалось с железной брони кораблей и тонуло в сине-белой дымной пене.

Крики. Рев. Музыканты рвут струны, терзают рога, почти разбивают бронзу тарелок. Для разговоров не время.

– Пять «коней», что рыбы продержаться пока не истечет песок, – Лылах бросил монеты к перетянутой колбе часов. Тонкая струйка песка сыпалась, отмеряя теперь чужие жизни.

– Идет, – Агбай-нойон не мог не принять ставки. – Десять, что сдохнут раньше.

Лылах лишь улыбнулся. Он вообще, как заметила Элья, говорил редко. Зато его слушали с предельным вниманием, опасаясь упустить не то что слово – изменение тона, оттенка голоса, если в нем были оттенки. По мнению Эльки голос Лылаха был столь же невыразителен, как и сам этот человек.

Его редкие седые волосы, заплетенные в тугую косу и прикрытые кожаным чехольчиком, и крохотные, прижатые к голове уши, пожалуй, были самыми примечательными чертами в облике одного из могущественнейших людей Наирата. А в остальном... Лаковая шапочка, подвязанная под подбородком – тугой узел впивается в кожу – бледная шея с темными полосками не то грязи, не то застывших шрамов; подрисованные углем усы и отекавшие веки.

Малоподвижный, сонный дудень степной – верно назвал любимца тегин.

Песка в верхней чаше оставалось менее половины. Ходульная фигура приостановилась, пропуская вперед себя дюжину бойцов в тяжелых панцирях, прямо к вахтаге мятежников, выделявшейся среди прочих белолицых короткими синими куртками.

– Вижу, и там Агбай избегает опасностей. Совсем как в жизни, – это были первые слова, произнесенные Ёрыхзом с начала представления.

Впрочем, никто не показал вида, что расслышал их. Сегодня тегина осторожно не замечали. Его терпели, как и накатившую жару: с настороженной полуулыбкой и взмокшей спиной – то ли от тяжести суконных кемзалов, то ли от страха вызвать новую бурю. Мало кому хотелось оказаться в месте столкновения двух могучих волн. Ибо один тайфун уже родился и бушевал во всю – праздновали с невиданным размахом триумф Агбай-нойона, Победителя Рыб, любимого брата каганри Уми.

И многим виделось в том предзнаменованье скорых перемен. Потому силились люди проникнуть взглядами за пурпурные завесы, а разумом – в чужие мысли. Нервно считали монеты, думая об иных ставках. И видели перед собой вовсе битву вовсе не мятежных побережников и Агбая.

Меж тем то, к чему готовились без малого сотню дней, от просыпающихся серо-коричневых почек до самого цветения каштанов, укладывалось в три переворота песочных часов. В их верхней колбе еще терлись свинцовыми крупинками живые синие куртки, герой Агбу-Великан и мешковато-нелепый Мюнгюн; а в нижней, под серой горкой, уже давно похоронены первые весенние оттепели.

Весна началась с затяжных дождей. Весна принесла отчетливый запах гнили и свежей земли, который проникал даже во внутренние покои дворца. Весна топила сугробы, лизала льды, очищая красный камень Тракта. Снега отползали с боями, оставляя ошметки кольчуг и шлемов, клочья гнилой ткани и желтоватые, в отметилах зубов, кости. Впрочем, последние все еще привлекали и волков, и галок, и беспокойных, горластых грачей.

У стен Ханмы снега держались долго. Жались к камням, стекали в ров грязевыми потоками, цеплялись за космы камыша и рогоза, но все-таки стояли. А в три дня и земля высохла, сменив жирную черноту на желтовато-красный, глинистый окрас. Чуть позже добавили зелени первоцветы, а еще спустя неделю окрестные поля вспыхнули синим и белым, желтым и густо-алым.

Мир ожил.

Вместе с первыми оттепелями у Эльи появился повод выбраться из дворца. Причиной стала очередная прихоть Ырхыза: почтить память предков... Теперь раз в неделю весеннее утро начиналось так: пробуждение, недолгие сборы, стража, лошади, носильщики, паланкин и пестрая свита для Эльи из карликов-дураков и музыкантов – еще один каприз Ырхыза, еще одно оскорбление степенному Наирату. Затем ворота, что молча открывались, пропуская кавалькаду. За ними начиналась Ханма – многоликая, многолюдная, многоголосая, встречала она паутиной улиц, лежала в долине каменным яблоком, источенным червями-людьми.

И пусть город был виден лишь в щель между тяжелыми тканями полога, но Элье и этого оказалось достаточно, чтобы понять: Ханма – не замок, Ханма – рынок. Он начинался сразу за белым кварталом: дома наирской знати сменялись иными, чуть менее роскошными и являвшими собой нечто среднее между жильем и торговой лавкой. Здесь высокие заборы с коваными решетками ограждали покой и гостей, и хозяев. Здесь в тени деревьев и кустов белого жасмина стояли беседки и скамьи, гостей обносили медовой водой и солеными лепешками, предвзято торг неторопливой беседой. Здесь тратили время столь же беспечно, сколь и золотые монеты.

Чуть дальше, втираясь в узкие улочки, лавки теряли заборы и зелень, окна их становились уже, решетки на них – толще. Дома жались друг к другу и росли вверх на три или четыре этажа, и на каждом была своя вывеска, дверь и лестница, к ней ведущая. Здесь под навесами крыш ставили ведра для дождевой воды и глиняные бадьи, в которые выливали помои. Здесь шумная детвора затевала драки, и победители, отгеснив побежденных, устраивали пляски вокруг прохожих, хватались за одежду и руки, уговаривая заглянуть в лавку многоуважаемого Аглыма, Клейста Хошница, Зошке-Кошкадава и многих других.

Позже, когда дома вновь становились двух и трехэтажными, навесы над угловатыми их крышами выпячивались все дальше, почти смыкаясь и закрывая небо, зато под ними ставили столы и раскатывали камышовые коврики, теснили друг друга, ссорились и мирились торговцы.

Там, где не было рынка, жили стены из красного кирпича, из круглого речного камня, из сыпкого песчаника или глины, смешанной с соломой и навозом. Или вот из темного гранита, как в хан-бурсе. Поднимавшаяся высоко по-над крышами, эта стена блестела цветными стеклами редких окошек, топорщила ряды зубцов и закрывала от любопытных глаз еще один город.

Тогда, в самый первый раз, паланкин остановился у широких, перетянутых железными полосами ворот, носильщики упали на колени, стража спешила, а Ырхыз, откинув полог, сухо велел:

– Выходи.

Элья вышла. И ворота открылись, принимая незваных гостей. И Вайхе, степенный, скрывающий взгляд за разноцветными стеклышками окуляров, вышел навстречу.

– Я рад, мой тегин, видеть тебя здесь, – сказал он, обнимая Ырхыза. – И рад, что ты сдержал данное слово.

Скользкий взгляд, и солнечный свет, затопивший внутренний дворик. Обилие строений, сросшихся друг с другом, и обилие людей, занятых своими делами. Неспешная, деловитая, подчиненная собственному внутреннему ритму жизнь. И пришедшие извне ей лишь помеха.

– Что, Вайхе, нынче помолиться Всевидящему приходят реже, чем поглазеть на подготовку чествования Агбая? Священное Око затмили строительные леса, а умную проповедь – стук молотков?

– Уж не от обиды ли и раздражения ты сам придаешь величие всяческим мелочам и низводишь до них истинные ценности? – произнес хан-харус и сдержанно улыбнулся. – Опасно не видеть настоящие размеры вещей. Вижу, не зря ты пришел.

– Я хотел бы спуститься, – Ырхыз впервые за последнее время не требовал, но просил.

– Конечно, мой тегин, – Вайхе взмахнул рукой, и тотчас рядом возник толстячок в растянутом на брюхе балахоне. – Но сначала очисти душу и разум от лишнего. Аске тебя проводит. А мы пока побеседуем.

Элье меньше всего хотелось беседовать с харусом, но вот никто не спрашивал о ее желаниях.

Провожатый, Ырхыз, а за ним и Морхай с четверкой стражников, исчезли, а Вайхе, хитро глянув из-под окуляра, спросил:

– О чем ты думаешь, дитя мое?

– Сейчас?

О Понорке, о голосах в нем, о страхе и о ненависти, от которой пришлось избавляться долго.

– Нет, не сейчас. Сейчас ты боишься. Слишком боишься, чтобы думать.

Хитрый человек смотрел искоса, словно бы охватывая взглядом и двор, и нарядную башенку голубятни, и дальше, низкое и широкое здание, куда направился Ырхыз, и осторожно, лишь краем, задевая саму Элью.

– Все боятся, – ответила она.

– Все. Но их страхи определены. А вот твой... Крылатые родичи полакомились твоим духом, железные демоны съели твои волосы, человек давно владеет твоим телом. И после всего этого ты живешь. Так чего бояться? Всевидящий глядит на тебя и черной и белой стороной.

Вайхе снова мигнул. Нет, это не просто рисунки на тонкой коже век, это искусные татуировки. А не видит ли этот смешной человек больше, чем другие? И может он сумеет объяснить, что происходит. Почему Элье все сильнее хочется бежать, но не от опостылевших стен, а от дурных мыслей и тяжелых снов?

От тех снов, в которых не было места безумному тегину и хитроумному Кырым-шаду, не было места людям вообще: тягучею тоскою, не уходящей и после пробуждения, являлся дом. От тех мыслей, в которых приходил дядя. И Маури, сестренка названная. А еще – Скэр. И Кавард. Особенно часто он. Особенно мучительно. А что, если всё не так? Что если эта смерть имела какой-то иной смысл?

Имела. Не могла не иметь, иначе плата за нее слишком высока. И подлю все. Приговор – касание кисти, печать и чаша с сонным ядом. Изгнание, которое и странно, и страшно. Давние разговоры с тегинем о битве при Вед-Хаальд и сама долина, которая хлебнула крови и осталась прежней.

Мир, что и не мир, – лишь ожидание новой войны.

Сомнения пустого дома, случайно проглотившего сквозняк. И мечется ветер, стучит дверями и дребезжит стеклами, будоража темноту, ищет в ней чужеродное. Такое, что однажды снесет все двери и вышибет стекла. Или тихо придавит тебя в дальнем углу, и никто этого не заметит.

Почему так важно стало понять: имела ли смысл та смерть? Есть ли вообще смысл в смерти?

Внимательный взгляд, уже не широкий, но сосредоточенный, жгучий. Не торопит, но и вечно ждать не станет.

– Я боюсь... себя. – Элья даже легонько растерла пальцами горло, словно помогая словам вырваться.

– Почему?

– То, что казалось простым и правильным, обернулось чем-то невообразимым.

– Так частенько бывает. Это как окуляры со стеклами разного цвета. Правым может видеться одно, левым – иное.

– Но прежде все виделось одинаковым. Ясным и понятным, а теперь...

Вайхе снял очки и, поймав солнечный луч, продемонстрировал его след на ладони.

– Сдается, раньше ты по-настоящему и не находилась ни по какую сторону таких вот окуляров. Была ярким стеклышком, через которое кто-то смотрел, как ему заблагорассудится. А теперь вот пришло время...

– Самой выбирать цвет?

– Это как раз легко. А вот перестать быть стеклом – намного труднее. Далеко не у всех получается. Но идем, дитя мое, – Вайхе водрузил очки на переносицу. – Идем, я покажу тебе того, у кого однажды получилось.

Лестница уходила вниз спиралью: высокие ступеньки, гладкие стены, высокие факелы, что горели ровно и ярко. Вайхе и Ырхыз, который ждал, расставляя свечи на обсидиановой части Ока. Мраморная уже полыхала десятками огоньков.

Стража вместе с Морхаем осталась наверху, в зале-шестиграннике, где из черно-белых плит выростали черно-белые же, квадратного сечения колонны. Они стояли ровным строем, защищая священный символ и поддерживая низкий потолок. Крепко держали, цепко. До поры до времени. Вот сейчас моргнет Око и, повинувшись приказу, каменная толща обрушится на головы людей... Но Око недвижимо. Дрожат в полутьме свечи, курят дымом круглые жаровни.

Дым этот, потянувшийся было в боковую дверь, осел на самых верхних, шербатых ступенях. Здесь же, ниже, не пахло ничем.

– Этой дорогой ты меня не водил, – заметил Ырхыз, останавливаясь. Оглянулся, подал руку, сжал, то ли ободряя, то ли ободряясь.

– Это дорога для харусов, – ответил Вайхе. И голос его, отраженный стенами, был глух. – Она ведет не только к нынешним залам.

Выразительное молчание. Сосредоточенность на лице тегина. Вопрос:

– Почему?

– Потому что в минуты смятения душа мудреца обращается за советом к Всевидящему, – Вайхе ускорил шаг, ступени стали выше, грубее, а коридор сузился. Элье на мгновение показалось, что еще немного, и каменные стены схлопнутся, раздавят и ее, и Ырхыза, не тронув лишь хитрого хозяина подземелий. – Кровь же воина вызывает к предкам.

– Спасибо.

О чем был этот разговор? И при чем здесь Элья?

Вопросы появлялись и застревали в горле, не позволяя нарушить торжественную тишину места. Их стало больше, когда в очередном витке лестница вдруг закончилась.

Здесь не было дверей или запоров, здесь не было факелов и масляных ламп, здесь не было ничего, что соединяло бы этот, новый мир, с тем, который остался наверху.

– Иди, ясноокий. И ты иди, та, которая пришла сверху, – Вайхе пропустил их вперед.

Первый шаг и стеклянный хруст, облачко пылицы, которое поднялось и опало, облепив сапоги Ырхыза. А он, не замечая, что рушит хрупкое равновесие здешней темноты, уже шел вперед.

Туман, серебристый и живой, полощет длинные нити. Они загораются, вспыхивают зеленоватым светом, шорохом и гудением.

– Не стоит опасаться, подземные пчелы не жалят! – доносится в спину голос хан-харуса.

Не жалят. Гудят, звенят, разрывают туман на клочья. И рифами выползают навстречу белые зубы сталагмитов.

– Кыш! – Ырхыз замахал руками, отгоняя насекомых, но вдруг успокоился. – Не обращай на них внимания.

Элья кивнула. На протянутой ладони сидит... Стрекоза? Муха? Пчела, как сказал Вайхе? Прозрачное тельце, безглазая голова с длинным хоботком, который разворачивается, тычется в Эльину кожу, не способный проткнуть. Треугольные крылья существа трепещут, переливаясь перламутром.

– А ты им нравишься, – Ырхыз сбросил одну с волос, вторую с куртки, но пчелы лезли, облепляли, щекотали. Противно? Скорее странно.

– Это эскалья, подземные пчелы, – Вайхе было почти не слышно за гудением роя. – Они безобидны. И даже полезны.

– Ну да, – Ырхыз раздраженно дернул головой, когда одна из пчел села на затылок.

– Те нити, мой тегин, которые светятся, видишь? Это их кладки. Два цвета, значит, два роя. Когда я только стал хан-харусом, был лишь синий.

– И что это значит?

– Возможно, что и ничего.

Каменный куб прячется за колоннадой сталагнатов. Потускневшее золото и трещины по мрамору. Осторожность, нежность даже, с которой Ырхыз касается, проводит кончиками пальцев, повторяя линии барельефов, изучая, запоминая. Потом, осмелев, кладет ладони, наклоняется, прислушиваясь к чему-то, скрытому внутри. И повинувшись этому, неслышному Элье, зову становится на колени.

Она хотела подойти, просто подойти ближе, увидеть, что же такого в этом камне есть, но Вайхе не позволил.

– погоди. Его время.

Пусть так.

– Это место упокоения Ылаша, великого воина, – пояснил Вайхе шепотом. В полумраке зала стеклышки окуляров его казались серыми, и верно, видно ему было плохо, оттого и вертел он головой, подслеповато щурился, но снять – не снимал. – Саркофаг хранит его прах. И не только его.

Вот он – мертвый Ылаш, а вот – живой Ырхыз. Семя и его плод, а между ними – непрерывная цепочка гробов. Люди выбрали путь, где веками служат саркофаги и кладбища. Пусть. Это их дорога. Это дорога Ырхыза. Теперь ясно, куда она ведет, и, каким бы ни был тегин, он её достоин.

– Мы не поклоняемся мертвецам, – также шепотом ответила Элья, стряхивая назойливых подземных пчел. Те не отставали, садились, ползали по коже и даже тянули прозрачные, липкие нити.

Убраться бы отсюда поскорее... Или напротив, остаться в тишине и покое этого места.

– И мы не поклоняемся. Мертвецам. Ылаш – это Вечный Всадник, знак, символ. Воплощение Наирата. И само место – символ. Почти как Понорок Понорков. Здесь исток могущества наире, отсюда берет начало сила каганата.

При возвращении в замок паланкин почти не трясся на могучих плечах носильщиков, но Элью не покидало беспокойство. В голове крутилось одно – опасный путь, опасный путь! Что-то было не так. Слишком крикливые торговцы? Слишком узкие переходы? Слишком часто упоминаемое имя Агбай-нойона? Не ясно. Тяжело без крыльев... Будто кошке усы отрезали и она не чувствует и половины мира. Хороший фейхт знает об ударе за час, а о нападении – за день. Эх, как ошибается поговорка в случае с Эльей! Да и предчувствие... Будто кто-то прицеливается, но не для удара клинком, не для арбалетного выстрела. Железо здесь не причем. Просто у кого-то слишком острый взгляд, пробивающийся сквозь полог паланкина и даже серую кожу скланы.

Резать перестало только перед воротами замка.

В следующий визит Вайхе завел их в необычную пещеру. Ошибся? Спутал поворот, что не трудно в этом кротовнике? Вряд ли. Элья считала, что четырехглазый человек никогда не допускает подобных оплошностей.

Влажный камень, капли воды и мягкие поля бесцветного папоротника. Тронь его и разлетится облаком мерцающей пыльцы. Невесомая, пахнущая рыбой, она оседает на коже и одежде. Клеится на губы – кисловатая, терпкая, дурманящая.

– Ею нельзя дышать, – предупредил Ырхыз и, стянув с лица шарф, глубоко вдохнул, зачерпнул ладонью, точно не воздух – воду, слизал с пальцев. – И есть нельзя. Но ты попробуй.

– Мой тегин, – с укором произнес Вайхе, моргнув разрисованными веками. – Не следует этого делать.

Пыльца вспыхивала и гасла, и вновь выкатывалась под ноги людям. Ласкалась. Она искажала и без того странный подземный мир и прорастала стеклянными побегими – хрупкими веточками-ракушками, которые со звонким треском разламывались, пуская по пальцам Ырхыза бесцветный сок.

– Попробуй, – снова велел он.

Сок был горьким, Ырхыз – безумным, место странным. И мудрый хан-харус Вайхе – белая тень в черном мире – казался единственным, кто сохранил хоть каплю разума.

– Мой тегин, нам дальше, – он скользнул, заслоня черный зев бокового хода, взмахнул рукой – потревоженный папоротник тотчас дохнул облаками белого, а стены полыхнули зеркала, отражая пламя единственного факела. – Саркофаг вашей матери перенесен в чистые залы совсем недавно.

Элью туда не пустил сам Ырхыз. Заставил ждать у сырых колонн, а потом молча тащил за руку вверх по лестнице. Вайхе давно отстал, а склана несколько раз чуть не упала. Так проскочили и двор хан-бурсы, также неслись по улицам столицы. Может быть, поэтому дурное ощущение, что кто-то снова наблюдает за паланкином, было слабее, чем в предыдущий раз. Но в том, что кто-то снова прилип взглядом к тяжелому пологу, Элья не сомневалась.

Еще через неделю по подземельям шли совсем иной дорогой, минуя один за одним залы, темные и дикие, хранящие вечный покой, а с ним и каменные кубы саркофагов.

– ...и был его сын... и сын его получил табун... и его сын взял в руки плеть... – Вайхе знал всех по именам и прозваниям родов и ветвей, он говорил о них так, как будто эти, давно ушедшие люди, были еще живы. И Ырхыз внимал каждому слову.

Родовод. Странный человеческий родовод, который дает право безумцу претендовать на трон. Что может быть более неразумным? Что может быть более впечатляющим?

Постепенно залы становились меньше, чище, наряднее. Исчез туман, а с ним и зубы сталактитов, умелые руки сгладили шероховатость стен, раскатали ковры ярких фресок, укрыли полы мозаиками.

Дальше появились треноги и факелы. Шелка и мех, тусклое золото ненужных чаш и блюд, ржавчина на оружейной стали.

– Мы меняемся, – сказал Ырхыз, останавливаясь в центре такого вот зала. Осмотрелся безо всякой почтительности, поддев ногой, поднял копье с тяжелым острием, ниже которого свисала пара лисьих хвостов. Прицелился и швырнул над гробом. С треском прорвалась ширма, вскрывая черный зев бокового хода, из которого тотчас пахнуло сквозняком, а в сквозняке, едва ощутимо, эманом.

– Мы меняемся, Вайхе! Всевидающего ради, теперь я вижу, понимаю. Шады и нойоны, которые превращаются в купцов и ради мимолетной выгоды договариваются о вечном мире. Я думал, они боятся, я думал... А они, сучьи дети, просто хотят урвать побольше. Грызутся друг с другом, шальные псы, а силенок сделать что-то и в самом деле важное не хватает. Смелости не хватает.

– Мой тегин, ты спешно судишь.

– Я еще не сужу. Но буду, Вайхе. Вот увидишь, буду. Ты правильно сказал про голос крови, я услышал его. Да, услышал! – голосу Ырхыза было тесно в пещере, и он, искаженный, бежал в коридоры, теряясь в темноте их.

А эманом тянуло, ласкало спину, гладило кожу...

– Я соберу второй Великий поход, чтобы... – Ырхыз запнулся, крутанулся на каблуках и, вперившись взглядом в черно-белый символ над роскошным саркофагом, закончил: – Чтобы донести истинную веру Его и милость до тех, кто покорен ересям и неверию.

Вайхе вскинул руки, останавливая, заговорил торопливым шепотом, убеждая, что война и вера – суть вещи разные.

Не интересно. И Элья сделала шаг к черному пятну, скрытому испорченной ширмой. И еще один шаг. И еще. Она дошла и даже заглянула в слепую темноту, вдохнула сыроватый, рыбный запах, подумала, что если наклониться, то...

– Ты куда? – сердитый окрик, рука на плече, и тут же требовательное: – Вайхе, а там что?

– Священные подземелья, – сухо ответил хан-харус, перекидывая фонарь в другую руку. –

Не прибранные людьми.

– Идем, – Ырхыз, согнувшись, нырнул в коридор. – Я хочу посмотреть.

– Это не...

Темно, узко, стены не желают принимать людей, ставят подножки, толкаются острыми уступами. Впереди, стукнувшись о низкую притолоку, выругался Ырхыз. Остановился, потребовав:

– Элья, лампу! Ты чувствуешь?

Чувствует. И не только знакомый зуд в лопатках, но даже пульсацию тегинова шрама, который наверняка чешется под отросшими волосами. Точно, вот и рука в перстнях потянулась, сгребла соломенные пряди в охапку, дернула, а потом растрепала со злостью.

– Мой тегин, – прежним, ласковым тоном заговорил Вайхе. – Тут дальше не пройдешь, десять шагов и тупик. Ходы есть, но в них разве что кошка протиснется. Или железный демон Сыг.

Или эман. Сладкий-сладкий, знакомый смутно, чистый, какому здесь, внизу, попросту неоткуда взяться.

– Это ведь не единственный коридор? – спросил Ырхыз, выбравшись в залу. – Отвечай. И не вздумай запираться.

Вайхе не вздумал. Вайхе ответил и про этот коридор, и про многие иные, и про то, что не след людям беспокоить хозяев подземных, что нужно довольствоваться малым, а в знаниях великих и великие печали.

Врал хитрый человек. Быть того не может, чтобы харусы довольствовались малым, чтобы не попытались сунуть любопытные носы в темноту, и перенести ее на карты сплетением линий и тайных знаков. Иначе откуда Вайхе знать, что коридор тупиком заканчивается?

Ырхыз пришел к такому же выводу.

– Завтра, – сказал он, – я вернусь и ты покажешь мне те подземелья. А теперь пошли отсюда, я наверх хочу.

Поднимались быстро, уже не задерживаясь на то, чтобы рассмотреть, узнать, почтить память. И только в самом последнем из залов – высокий потолок и длинный желоб с черной лентой ручья – остановились.

– Смотри, – Ырхыз взял фонарь, поднял высоко над головой, высвечивая и темные стены, пока еще неровные, и кривоватый, в каменной крошке пол, и мраморный куб в центре. – Элы, смотри хорошенько, когда-нибудь здесь лягу и я.

Он радуется? Чему? Тому, что когда-нибудь умрет и упокоится в саркофаге? Сомнительная честь.

– Нет, – он уловил сомнения. – Ты не понимаешь, Элы. Я буду как он, как Ылаш. Символом. Он хочет стать символом. И он достаточно упрям, достаточно безумен, чтобы задуманное получилось.

– Верю, что так оно и будет, – тихо сказал Вайхе, забирая лампу. – И верю, что не скоро. И пройденный путь, и предстоящий терялись во тьме.

Желтым пятном качался фонарь в руке хан-харуса, хрустела каменная крошка, шептала где-то рядом вода. Все спокойно.

Но в спину тянет эманом, которому неоткуда взяться в человеческих подземельях. А тем более линг-эману того, кто давным-давно убит на дуэли.

И вопреки всему найденный коридор пах именно Каваардом.

Бельт

*Учить можно по-разному.
Морхай из рода Сундаев при выборе плети.*

*...правильность проведения лабораторного опыта подразумевает соблюдение установлений, направленных на исключение любых иных влияний на объект, помимо исследуемого...
«Эксперимент и его постановка», Хан-кам Кырым-шад.*

В углу камеры возникла лужа. Утром еще не было, а к полудню – пожалуйста, разлилось желтое озерцо дождевой воды пополам с мочою, развонялось. Рядом, скукожившись и наклоняясь низко-низко, сидел Кукуй. Совал в лужу пальцы, разгонял рябь и ловил мутным глазом отражение. А еще там же, в луже, расплывчатым пятном бликовало окно, исполосованное решетками. Кукуй любил подпрыгнуть, ухватиться покрепче за прутья и колотить ногами по грубой каменной стене.

– Ку-у-ушечка, – он разгреб рукой короткие патлы, выловил жирную блоху и кинул ее в вонючее море.

– И в этом весь человек, – заметил Хрызня, переворачиваясь на другой бок. – В грязи родится, в грязи век влачит, в грязи и подохнет. А потому сие есть ни что иное, как вышняя воля.

Хрызня громко пустил газы и продолжил:

– Чистота противоестественна, ибо вестимо, что, избавляясь от присущего природе своей, человек идет против воли Всевидающего.

– Жрать. Жрать! – Гулба очнулся от дремоты, перевернулся на брюхо и затряс лобастой головой. Заныл: – Жра-а-ать!

– Н-на, – огромный Нардай сунул ему в руки пук соломы и замер, глядя, как безумец сосредоточенно запихивает его в рот.

Главное, чтобы лакать из лужи не полез, с него ведь станется.

А Гулба жевал, пускал слюну, ухал да умудрялся повторять:

– Жра-а-ать дай!

Но лужу вроде бы не замечал.

– Достаточно бросить взгляд на мытого, чтобы понять – пытается он скрыть свои грехи, стереть их мочалом...

Новый пук соломы. Гулбина тяжелая голова завалилась на левое плечо – худая шея не держит прямо.

– ...упрятать смрад истинных злодеяний под лживыми ароматами.

Хлюпнули ладони по луже, загоготал Кукуй.

Тише всех себя вел Нардай, хоть и выглядел самым опасным: высок, широкоплеч, тяжел в кости и грузен плотью. И ладно бы мягкая, сальная, каковая через год-другой поиссохла бы, втянувшись морщинами, как у Хрызня. Нет, его шкура бугрилась мышцами и пестрела боевыми шрамами. Хорошо, что ныне Нардай тих да ласков.

– Вот она, настоящая некротика, а вовсе не благородный копрус. О том и говорил мне мушиный хозяин.

Камера была не велика: четыре стены по шесть шагов – старая кладка, шербатый кирпич в прослойках серого раствора. Шурилось под самым потолком еще одно окошко, но до него так просто не допрыгнуть. В пасмурный день света здесь не доставало даже на то, чтобы рассмотреть пятна гнилых подстилок и нескольких безумцев на них.

– Ибо рождается из той некротики самое страшное и печальное для человека.

Хрызня мнит себя мудрецом и проповедует истины, каковые нашептывает ему мушиный хозяин. Вдобавок Хрызня срёт под себя и прячет дерьмо в солому, а как потеплело – еще и мазаться стал, чтобы быть ближе к истине. Воняло от него. А прочие, хоть и безумцы, стороной обходили Хрызнев угол. Кроме Нардая, которому, казалось, было все равно.

– Под костью, в голове, вызревают особые черви. – Хрызня поскреб голый, в коричневой коросте, зад.

Кукуй сжался, втянул голову, ибо была у Хрызни дурная привычка швыряться в соседей всяческой дрянью.

– Черви-черви, они в книгах лживых живут, через буквы и глаза в голову залазят и поселяются там. Плодятся, – добавил Хрызня, мелко кивая. – Вон, у тебя живут.

– Ку-кушечка, ку-ку! – радостно шлепал по луже Кукуй, гулькал и булькал. Этот блажень – обыкновенный, неинтересный, но вполне спокойный и где-то даже послушный.

– Мне мушиный хозяин сказал. Он точно знает.

Гулба срыгнул вязкой, желтоватой слюной, которую тут же пальцами подгрел и вернул в рот. Зачавкал. Ему все равно, чем брюхо набивать, жрет и жрет, жует, давится, а потом, забившись в угол, блюет до изнеможения, падает, засыпает тотчас и снова просыпается с одним воплем:

– Жрать!

И так – каждый день.

Вот они, Кукуй, Хрызня, Гулба и Нардай, подопечные Бельта Нобелева, бывшего десятника и дезертира, а ныне – уважаемого зрителя приемного дома в ханмате Сурдж.

– Выходим! – Бельт ударил железной палкой по двери. – Выходим, демоновы дети!

И пинком заставил Гулбу подняться с четверенек. Отогнал Кукуя от лужи, думал и премудрейшего палкой ткнуть, но побрезговал, а тот – хитроумен – оскалился гнилой улыбкой:

– И мушиный король сказал: я научу вас, как...

– Пшел! – Орин прицельно метнул камень в живот. Попал. Мстит за дерьмо, которым как-то получил от Хрызни.

Последним из камеры выходил Нардай, по обыкновению тихий, задумчивый. Выбравшись во внутренний дворик, остановился, заморгал, заулыбался счастливо и сказал свое обычное:

– Гхар-рах!

– И тебе того же, – Орин изобразил поклон, буркнув: – Бельт, я тут сам скоро умом двинусь.

Навстречу, до пупа задрал грязную юбку, радостно шлепала по грязи Махалька. За ней бесконечной вереницей тянулись гуси.

Начинался новый день, predetermined в своем течении, как и все прочие.

Вот только яблони сегодня пахли по-особенному. Они цвели уже вторую неделю, и Стошенский дом призрения тонул в бело-розовом духмяном море. Низенькие дички-полукровки подбирались к самому краю оврага, почти сползая в канаву с водой. Чуть дальше, на вызеленевшихся склонах, стеною стояли неприхотливые барштаны, которые ближе к осени разродятся кисловатой, зато крепкой к гнили мелочью. За барштанами, уже при самой ограде, начались карликовые ирийские деревца, кривоватые, в желтовато-синюшном цвете. И яблоки будут такими же, синевато-желтыми, горько-вяжущими, раз укусишь – неделю отплеиваться будешь. Бельту случалось по молодости и дури. Ну да объяснили потом, что ирийские яблочки не для еды, а для настойки, которая кровь разжижает, желчь изгоняет и, если с бобровой струей да медвежьим салом смешать, самые страшные гнойные язвы живит. Что в будущем должно весьма пригодиться, ибо язвенных в доме оказалось ровно столько, сколько и блаженных, а именно – еще одиннадцать душ.

Поговаривали, что прежде здесь ютилось народу раза в два, а то и в три больше. Бельт верил – велико было Стошено. Два дома добротных, кирпичных, клались, каждый на дюжину камер. Между домами – дворик с колодцем и купальнями, чуть дальше птичий и скотный дворы, свинарни, амбары да мастерские. Имелся тут и молельный дом, в котором ныне Ирджин лабораторию обустроил. Отдельно стояла скрипучая жилая домина, выдавшая не одно поколение Стошенских зрителей, а теперь возмущенная, по-старчески брюзгливая к новому хозяину.

В Стошено их привезли под самый конец зимы. Волчье время. Бури, стервенея, гоняли друг друга, стлали снегами, дули морозами. Метели, заровняв поля и канавы, замели ближний лесок по самые маковки низеньких елей, подобрались вплотную к частоколу.

– Кыш, кыш! На постоялый дальше! – встречал гостей старичок в овчинном тулупе да высокой, заломленной набок шапке. Щурился, не узнавал, хотя был бы должен. Под конец, поняв, что уходить приезжие не собираются, сказал: – Ябло я. Зритель тутешний.

– Пора тебе на покой, дед, раз хозяев не узнаешь, – просипел простуженным горлом Ирджин. – Ну для того мы и здесь.

Но тогда не до старичка вовсе было: вымерзли все, что собаки, и одного хотелось – в тепло, к камину и выпить бы чего покрепче, оттаять да в сон завалиться, в себя приходя. Камин был, и куча отсыревших дров, из-под которой расплзлась темная лужа стаявшего снега, и слабый огонь призраком тепла. А еще – щели в окнах, кое-как забитые лохматым мхом, сквозняки и седой налет мороза на редкой, чудом уцелевшей мебели.

В бараках оказалось еще хуже.

В последние дни зимы не жили – выживали, цепляясь за жалкие крохи тепла, которые давал задымленный камин и Ирджиновский механизм. Чинили наскоро ставни, закладывая окна обрывками тряпья. Кипятили в котле камовские травы да вливали густое варево в глотки безумцев. А те притихли и держались одним безмолвным стадом, кое-как согревая друг друга.

– Крепкие. Ни хрена их не возьмет, – приговаривал Ябло, не решаясь, впрочем, перечить. Вздыхал, ходил следом, бормоча про самоуправство, приглядывал, приговаривая: – Скрипуче, да живуче; крепко, да хряпко.

И добавлял, с хитрецей поглядывая на Бельта:

– Два медведя в одной берлоге не уживутся. А покорному дитяте все кстати.

К весенним дождям трое болезных умерло. Удохло, как говорил Ябло, присовокупляя каждый раз:

– Лихорадка – не матка, треплет, не жалеет. Копать копай, да меру знай. Всяко лучше, чем по тому годе.

Последнюю могилу рыли, разломав и отодвинув ветхий плетень погоста, выдирая лопатами подмякшую, но все еще мерзлую на глубине землю. А после валили поверху мелкий камень в попытке сберечь от окрестного зверья. Только, судя по старым норам и отвалам земли на старых могилках, это помогало не шибко.

Именно тогда, опершись на лопату, Орин сказал:

– Да ну на хрен, я тут не останусь. Скотские загоны, гужманство полное! Не понимаю, почему нельзя по-другому, по-человечески? На хрена нам здесь торчать?

– Сам знаешь.

Орин знал. Еще с конца зимы, с самой долины Гаррах. С той минуты, как посажный Урлак показал в выстуженной карете небольшой – с ладонь – портрет тегина, будущего правителя Наирата. Зеркала под рукой не оказалось, но оно и не помогло бы: трудно было установить сходство между тем вспухшим Ориновым лицом и искусным рисунком. Потом Урлак спокойно говорил с четверть часа, после чего так же спокойно и с оттягом врезал Орину под дых, дабы притушить идиотский блеск в глазах и напомнить, по чьим правилам идет игра,

каковы ставки и кто здесь раздает награды. Да, разбойник Орин теперь знал то, что дезертир Бельт понял еще на холме, впервые увидев тегина Ырхыза. И именно это знание заставляло парня терпеть. Скрипеть зубами, беситься, срывать злость на том, до кого руки доходят. Но ждать. Впервые в жизни ждать.

– Но почему здесь?! Здесь, среди такого говна?!

В мареве дождя частокол казался выше, чем был. Его острые края вспарывали рыхлые дождевые тучи. Бежали по дереву потеки воды, собирались ручьями, наполняя канавы мутью, притапливая запахи и звуки.

Зябко. Грязно. Безумно.

Безопасно. Даже для бесящегося Орина. Тем более для него.

Стошенский дом призрения принял еще одного безумца. Стошенский дом призрения молчал о том, что творилось в его стенах, молчал по привычке, выработанной за многие годы. Стошенский дом и его обитатели существовали в собственных мирах, частенько не имевших никаких общих границ с реальным. А это устраивало почти всех. Так и обживались. Привыкали. Орин учил наирэ и постигал тонкости обычаев, взрывался от неудач, жаждал власти и бесился оттого, что она, как и все его будущее, казалась призраком. Он медленно терял себя, прежнего, но становился ли тем, кем должен был стать по замыслу Урлака, Бельт не знал. Сам же Бельт постепенно, день ото дня втягивался в ритм места, привыкая к тому, что теперь он – не камчар, не дезертир, но уважаемый человек на должности, с законным доходом, правом позволять в Стошено раскопы глубиной до восьми локтей и подписывать бумаги особым знаком Стошенского Дома.

А Ябло, оставшийся при доме не то работником, не то пациентом не уставал повторять:

– По вахтаге вахтан-хан, по овцам пастух.

...смотрят-смотрят-смотрят... Следят. Ищут. Найдут. Не в глаза-не-в-глаза-уходят-пусть. Спят. Когда спят спокойно. А просыпаются – плохо. Черви в голове, черви шевелятся, чешутся изнутри, скребут. Гулко-гулко. И волосы ноют, это потому что черви шевелятся.

Привык.

Изучил.

Нельзя смотреть, нельзя дразнить, тогда медленно. А если наоборот – быстро, толкуются, мешают друг дружке. И выползти хотят. Из глаза в глаз скок.

И порвут. Мои глаза порвут. Не хочу. Я говорю им:

– Сидите тихо-тихо.

Они послушны. Только не смотреть. А они смотрят-смотрят-смотрят. Следят.

День шел своим чередом, в мелких и крупных безумиях, каковые, став привычными, уже казались самой что ни на есть рутинной. Хохочущая Махалька, избавившаяся от одежды, скакала на бережку, прихлопывая по синюшным ляжкам и животу. Гуси, пасущиеся вокруг, переговаривались гоготом, точно обсуждая этакое непотребство. Хрызня читал горбатым худым свиньям проповедь о вреде чистоты, а Кукуй с лепетом и бормотанием мял рыжую глину, которую приносили из незаметного карьерчика. Рядом, в напряженном, злом молчании, двое безумцев вертели гончарное колесо. Изредка раздавался стук молотка или визг пилы, по-прежнему чадом дышал камин. Под присмотром Ябло блаженицы толклись у кухонного навеса и рубили вялую, плесневелую свеклу, сеяли муку, выбирая комочки опарышей, кромсали пуки щавеля, сныти и крапивы. После полудня воздух наполнится запахами съестного.

Пока же всюду требовалось внимание и постоянный присмотр. Старых порядков Бельт нарушать не стал, просто вник в привычный ход вещей, насколько сумел. Он быстро научился управляться с двумя дебелими немymi братьями, настойчиво определяемыми бывшим смот-

рителем как «весьма работные и не турботные, одно слово – опорные». Впрочем, Ялко оказался прав, парни действительно не доставляли никаких хлопот и были настоящим подспорьем почти во всех вопросах. Нововведений же было ровно два. Первое касалось наказаний за провинности, и дело тут было не столько в ужесточении самих наказаний, сколько в их упорядочении и неотвратимости. То, что бывший смотритель попускал по старческой ли невнимательности или из-за лени, теперь пресекалось. Второе же нововведение было напрямую связано с Ялко и чуланчиком, обнаруженным при кухне. За неприметной дверью сыскалось многое: и сыр в сине-зеленой корке, и счервившая солонина, и глубокая корзина с прошлогодними, погнившими яблоками. И даже вино, которое, к счастью, еще не успело скиснуть в укус.

– Им-то, им-то все едино, – вяло отбрыхивался Ялко. Бородой драной тряс и гниль яблочную сплевывал, размазывал по лицу да на Бельта косился – не начнет ли опять в корзину харей тыкать? Оно бы и надо, для науки и острастки, но что со старого и дурного взять? Отпустил.

А вечером сыр и вино получили все жители Стошено. Понемногу, чтобы хватило до следующего пополнения запасов.

И жизнь прочно стала в колею: тихих отправить на работы, буйных проведать да унять, ежели понадобится. Забот хватало, но вот были они какими-то нетягостными, где-то уже привычными.

Свистит-заливается травяной стебелек, выманивает. И тот, другой, твердит о червях. Мне кажется, то он неспроста, что он догадывается обо мне или даже видит их, свернувшихся белыми клубочками.

Он говорит, что из червей народятся мухи.

Нет, из моих – бабочки. Синие-синие бабочки с острыми крылами. Если позволить – полоснут изнутри, пробьют голову и кожу, выползут.

Я видел это при Гаррахе. Никто не верит, но я видел. Раз – и нету человека, разлетелся бабочками, расползся листьями осенними.

Красиво. Больно – ведь кричали-то – и я не хочу.

Я еще поживу. Мне очень нравится жить.

Но была у жизни в Стошено и еще одна сторона, не касавшаяся призренного дома.

Стены этого зала затягивала плотная жесткая ткань; она же укрывала столы и обтягивала плетеные рамы, отгораживая дальний угол. Тусклое зеркало, куб на кованых ножках, жаровня под вздутой крышкой из потемневшей бронзы и ящик с брусками жирного угля. Стул с высокой спинкой и ремнями на подлокотниках. Мозаичная маска из кусочков синего и желтого стекла на белом полотне. Неуютное место. Всякий раз, стоило переступить порог этой комнаты, шрам оживал. Иногда он покалывал, напоминая о своем существовании, иногда ныл, тяжелея, разгоняя жар по крови, а порой и вовсе вспыхивал резкой, сводившей скулы болью. Ирджин уверял, что это нормально, говорил о скланах, эмане и его отпечатках, давал бурую, с серным запахом мазь. От нее лицо немело, а потом долго отходило; дергало мелкой судорогой щеку и шею, но болеть переставало.

– Нет, Орин, сегодня у нас садись ты, – Ирджин накинул на кресло покрывало и, прибрав ремни, спросил: – Надеюсь, тебя-то привязывать не придется? Это совершенно безопасно. Ты же сам видел.

Орин, разумеется, видел и даже принимал живое участие: помогал усаживать Нардая, затягивал ремни на его руках и ногах, успокаивал пощечинами или, если уж совсем не получалось, запихивал в рот мягкий кожаный ремень. Потом стоял, наблюдая, как Ирджин крепил на скуластом лице блажня стеклянную маску, как подтягивал конструкцию из длинных палок на шарах-суставах, как растягивал золотые нити-паутинки, а на них развешивал вызолоченные же бубенчики.

Золото и серебро – металлы, которые к эману благоволят. Железо и медь равнодушны, а вот олово и ртуть – антагонистичны. Это сказал Ирджин, в первый ли самый раз, либо позже, когда и Бельт, и Орин достаточно привыкли к происходящему, чтобы задавать вопросы. Впрочем, сами вопросы каму не особо и нужны были. Он просто любил объяснять. Он говорил, когда сквозь маску проходили пучки разноцветного света, зажигая стекло и искажая лицо под ним. Он говорил, когда Нардай в кресле замирал, очарованный этой светосотворенной сетью. Он говорил, когда звонко и многоголосо звенели крохотные бубенчики. Он говорил, даже когда говорили другие, точно за этим обилием слов, в сущности, неважных, скрывался от по-настоящему опасных вопросов.

Но сейчас кам молчал, а Орин медлил. Смотрел то на кресло, то на Ирджина и стеклянную маску в его руках. И, наконец, решившись, сказал:

– Нет.

– Никаких болевых ощущений, – кам поднял маску, перевернул, показывая внутреннюю поверхность, не гладкую, но покрытую редкими, длинными волосками. Шерсть? Или серебро, которое благоволит эману?

– Да срать на боль! Бельт, он мне мозги выжечь хочет! Блажня сделать! Этих, что ли, мало? – Орин схватился за нож. – Я что, по-твоему, идиот?!

– Ни в коем случае. Ты – человек, которому многое предстоит. Но на пути к вершине его ждут трудности. Такие трудности, которых не грех и испугаться. И вполне естественно скрывать страх за агрессивностью. И вот чтобы победить этот страх и эти трудности, мы используем науку...

– Науку, чтобы сделать из меня идиота? Бельт!

– Это и вправду перебор, – Бельт вклинился между камом и Орином. Маска близко, волоски внутри шевелятся, медленно, едва заметно, но будто тянутся к нему. И шрам заныл. – Эта штука... неправильная.

– Орин не в состоянии запомнить и десятой части необходимых сведений, – Ирджин заговорил жестко. – Он старается, но этого мало. Легко ли за несколько месяцев изучить чужую жизнь? Стать другим человеком и человеком очень непростым? Если он не справится, то рискует и вправду остаться здесь. В качестве моего пациента.

– Да я его...

– Стоять! – рявкнул Бельт. – Ирджин, это действительно единственный способ?

Руки тянуло к маске. Взять, но не надеть, а уронить на пол. Потом наступить, с наслаждением вслушиваясь в хруст стекла, перекатиться с пятки на носок, выдавливая желтые и синие осколки из блестящей основы.

Маска была страшна. После нее люди – пусть безумцы, но все-таки люди – становились иными. Некоторые засыпали, и сон их был столь глубок, что выглядел почти смертью. Лезвие по запястью, уголек, скворчащий на коже, кусок льда на горле – и ни движения век, ни ускорения дыхания, ничего, пока не забряцают бубенцы. А они молчали порой долго, продлевая забытие на часы и дни. Тогда Ирджин, сам позабыв про сон, дежурил у кресла, следил, писал или рисовал что-то в толстой тетради. Впрочем, спали не все. Другие оставались в сознании, но вдруг начинали повторять то, что читал им Ирджин: стихи ли, велеречивые ли трактаты, из которых ладно если два-три слова понять можно. Но блажни не понимали, они просто рассказывали, удивляясь собственному внезапному знанию. Были и третьи, которые вдруг вспоминали себя, прежних, ненадолго – стоило раздаться звону, и память уходила – но все же.

– Пусть многоуважаемый Орин уберет нож, – проворчал кам. – Ни к чему здесь оружие. Пусть подумает над тем, что если бы я действительно хотел сделать то, в чем он меня обвиняет, я поступил бы много проще. Два грана сонного зелья, пробуждение здесь, путы и совершенно новая, послушная нам личность. Заманчиво? Боюсь, что даже слишком. И будь хоть один шанс

добиться стойкого эффекта... – он сделал выразительную паузу, глядя поверх плеча Бельта. Орин забурчал. – Но шанса нет. Точнее, шансы не те, чтобы рисковать.

Бельт почему-то вспомнил байгу и серый речной лед. Он укрывает бездонный омут, трещит под копытами... Но маячат впереди красные победные флажки.

А Ирджин бубнил, размахивая руками:

– Достойными мужами доказано, что в каждом существе нашего мира имеется некая субстанция, которая обладает сродством к эману. Логично, что с помощью эмана на эту субстанцию можно повлиять. Чем, собственно говоря, мы и занимаемся. И нет, я не могу воздействовать на личность, изменяя её. Разве у нас вышло внушить Хрызне не жрать дерьмо?

Орин хмыкнул.

– А Махалька? Всего-то и нужно обуздать ненасытность её чресел, одну-единственную большую грань личности, но увы. Не следует бояться: и возжелай я сделать вас иным, я бы не смог.

А если бы смог – вряд ли бы сказал. И прав он, не стали бы возиться ни посажный Урлак, ни хан-кам Кыргыз с Орином и Бельтом, будь у них иной способ. Значит, не было. Во всяком случае, пока.

– Поймите, воздействие на память – это единственный сколь-нибудь стойкий и позитивный результат моих изысканий. И по правде говоря, я бы сам не отказался посидеть в этом кресле. Порой, знаете ли, столько всего запомнить хотелось бы, а не выходит.

– Мне все равно это не нравится, – много спокойнее сказал Орин, подходя к столу. При виде маски его передернуло. Но он заставил себя взять ее в руки, даже приблизил к лицу: волоски тотчас зашевелились, потянувшись к человеку.

– Подумайте о выгоде, о том, что ждет вас впереди... мой каган. Будущее стоит того, чтобы перетерпеть некоторые неудобства. Верно?

Орин кивнул, отняв маску. Осторожно коснулся волосков пальцем и тут же отдернул его.

– Значит, оно только поможет запомнить то, что нужно?

– Да.

– И больше ничего?

– Вы не верите мне, и это понятно. Но вы все еще доверяете своему товарищу, верно? Многоуважаемый Бельт, хотелось бы услышать ваше мнение.

Ожидание. Слегка растерянный Орин, который уже принял решение – слишком заманчивую морковку перед носом повесили. Ради нее сядет хоть на кресло, хоть на угли с гвоздями, лишь бы не упустить. И Бельт с ним, и тоже скажет все, что нужно во убеждение, потому как нет иного пути. Выбор сделан, трещит лед, гнется, но пока держит и ведет к заветным флажкам. А потому стоит ли ломаться?

– Садись. Я тут буду.

– Раз всё решили, то я бы попросил еще вот о чем, – Ирджин дернул за остов конструкции, раскрывая её суставчатые лапы над креслом. – Дело в том, что я должен следить за экспериментом, а вы ведь не умеете читать на наирэ? К тому же ваш выговор оставляет желать лучшего. Потому нужен третий...

Не договорил, оборвал, как и всегда, давая возможность додумать и оценить. И только потом добавил:

– Я буду премного благодарен за помощь.

– Но...

– Уверен, ваша подруга давно сделала выводы о происходящем. И если она пока не задает вопросов, то это не значит, что их у нее нет. Но не это главное. Главное, раз она здесь, то тоже участвует, хотим мы этого или нет. Наши желания давным-давно подчинены не нам. Увы.

Очередная пауза. Ты же все уже обдумал, Бельт, не по одному разу. Ты все распрекрасно понимаешь: в деле Ласка, пусть и без ее согласия.

Орин молча устраивался в кресле, ерзал, сминая покрывало, трогал ремни и, не выдержав, обрезал-таки. Не доверяет. И все равно лезет.

Бубенчики на сетке слабо позвякивали, подставляя бочка желтому свету.

– ...и день, и месяц, и другой тоже шли дожди, вымачивали степь, гноили травы, – Ласка читала из книги тихо, так, что голос ее сливался со звоном. Убаюкивал. – Мор пошел по табунам, мор пошел по людям...

Ирджин, впервые молча, возился с машиной. Он подкручивал длинным – точь-в-точь клюв аиста – пинцетом крохотные винтики, натягивал струны, осторожно касался их мягкими молоточками.

– ...скачет всадник по степи да на коне костяном. Дует ветер в дудки ребер, стелется гривой по хребту, оседает на травах моровую язвой...

Онемевшая щека и обволакивающий голос. Многое непонятно про всадника, про коня костяного, про смерть. У наиров вся их история – одна бесконечная смерть. Агония. Откуда мысль? Чужая ведь. Точно чужая. Глаза чешутся, изнутри, точно кто-то скребет.

– ...кинул Ылаш клич, собрал он десять племен и еще десять, и многие пошли за ним, а другие, которые не захотели идти, умерли, ибо такова была воля Всевидящего.

Орин застыл. Без веревок, без пут сидит недвижим, только грудь вздымается мерно – дышит будущий каган, слушая историю своего-чужого народа.

– ...и была дана победа и земли для усталых табунов, и еда для голодных, и дома для сирых, и милостью особой – Понорки, которые суть...

Свет темнел, мигал все чаще, и Ирджин, отложив молоточки, спешно надел на пальцы чехлы с длинными, изогнутыми когтями. Шевелятся пальцы, касаются когти нитей, выводя на них причудливую мелодию.

– ...сел в Ханме Ылаш, и был у него сын... а его сын...

Имена-имена-имена, вереница родовода, которая совсем скоро оборвется. И он, Бельт, будет прямо причастен к этому. Во благо ли? Несправедливое обвинение в предательстве, знамя в грязи, Ласка... Бельт встал и вышел из комнаты.

Смотрят-смотрят-смотрят. Все. Устал сегодня. Ночь хочу, темноту. Тогда и черви в голове не видят свет, не лезут на волю.

– Эй! Иди ко мне! Поцелуй! Поцелуй! – прыгает, виснет на шее, тычется мокрыми губами, обнимает, елозит. Хочет.

– Давай, ну давай!

Горячие руки, черви замирают. Страшно? Горячо. И мне. Хлюпают-стонет-трется. Уходит. И червей уносит. Черви хитрые. Плохо-плохо-отвратительно.

И в голове пусто. Сбежали?!

Они в ней. Они вылупятся. Щелк-щелк-щелк, белые спинки крыльями проклюнутся, бабочки через уши и через рот, чтобы наружу, чтобы по следу, чтобы ко мне.

Нельзя.

Догнать.

Махалька лежала в изломанных камышах, уткнувшись лицом в ил и прикрывая руками разбитый затылок. Короткие волосы ее слиплись бурыми иголочками, а вдоль хребта протянулась длинная ссадина. Женщина была мертва, и осиротевшие гуси растревожено хлопали крыльями, тянули шеи, шипя на Бельта.

– Я вас, – пригрозил он хворостиной, отгоняя серого жожака.

Твою ж мать, только убийства не хватало. Кто ее? И за что? Безобидная же. Назойливая, но безобидная. Орин? Орин до вечера просидел в Ирджиновской лаборатории, и Ласка с ним, и кам. Ялко? Старый хрыч не раз плевался на развратницу, повторяя:

– Бей бабу молотом, будет баба золотом!

Но силенки у него не те: клюку удержать не способен, где уж тут молот.

Перевернув тело на спину, Бельт кое-как отер лицо от жижи и вздрогнул: из глазниц Махальки торчали два кривых сучка.

– Проклятье, – буркнул Орин, охранительным жестом касаясь собственных век. Резко дернул головой, скривился не то от злости, не то от боли и процедил сквозь зубы: – Найду сволочь – на ремни порежу.

И не ясно, что его больше печалило: жестокость убийцы, либо же факт, что в Стошено не осталось баб, безотказных и при том не слишком страшных.

– Кто ее? – Ласка подойти близко не решилась. Вытянув шею, заглядывала через плечо. – Кто?

Прежде чем ответить, кам внимательно осмотрел тело, после накиннул на голову кусок мешковины и сказал:

– Неизвестно. И вряд ли узнать выйдет. Это приют для безумцев, а безумцы не всегда безопасны. Плохо, что харуса нет, как ее, безглазую, закапывать?

– Заступом, – обронил Бельт. И прибавил: – Дозволяю, как смотритель, похоронить на восьмом локте. Железные демоны разберутся.

– Не дело это, – сказал Орин.

– Мне отвечать. Не тебе.

Махальку закопали возле пруда. Отогревшаяся за весну земля рассыпалась клейким черным зерном, разрывалась белесыми корешками, дышала жизнью. Принимала смерть.

– Была да сплыла. Крепкий задок, да слабый передок, – выдал очередную премудрость Ялко и живенько заковылял к дому. А если все-таки он? Не так и слаб, как хочет казаться, землю кидал не хуже братьев-помощников. А если другой, то кто? И нужно ли искать? Иных забот хватает. Но ведь смотритель-то должен. Наверное, должен. Или нет? Кому какое дело до этой безумицы? Просто убийство, пусть и богохульное. Одно из многих. Главное, чтобы здесь такого впредь не произошло.

– Больше не ходи во двор, – велел Бельт, и Ласка кивнула: не выйдет, чай не дура. Сама же сказала, повернувшись к дому спиной:

– Не хочу туда возвращаться. Не сейчас.

Ласка зашагала вниз по холму, вдоль канавы. Та постепенно становилась шире, берега опускались, дно поднималось, разливаясь неряшливой, но бодрой речушкой.

– Мне душно там. Кругом одно и то же, притом отвратное. И не меняется ничего. Нет, я знаю, что ты скажешь, что в лесу веселее, только мне и лес не нужен. Хватит, наелась по горлышко, хлебнула свободы так, что до сих пор похмельем мучаюсь.

Оглянулась посмотреть: идет ли? Идет. Куда ж от нее-то. Да и вправду в Стошено возвращаться не тянет.

Небо тлело предсумеречьем, скоро полыхнет и успокоится, осадит пламя до утра, пустит на короткий, весенний час, черноту.

– Я просто знать хочу, во что мы ввязались. И не говори, что вот это все, – Ласка обвела рукой, захватывая и дрожащий длинной листвой ивняк, и поле, огороженное на дальнем краю столпами осин, и широкое, расплывшееся русло реки. – Что это за просто так. Не поверю. И если завтра придут...

– Не придут.

– Ну, послезавтра. Или послепослезавтра. А ведь когда-нибудь да придут. И спросят. А если не ответишь, то растянут под яблоньками на веревках и по-иному начнут спрашивать.

– Боишься?

– Боюсь. Плохо, что ты не боишься. Или думаешь отмолчаться при случае? Не выйдет, Бельт.

За эти месяцы спокойной жизни она изменилась: покруглела, отяжелела, обрела мягкость движений и голоса. Даже нож носить перестала. Вместе с прежней злостью исчезла и резкость. Даже шрамы будто бы разгладились, почти исчезли. Сейчас на Ласке была темно-синяя рубаха в спиральях вышитых раковин, легкие шаровары и желтая безрукавка. Тройная нитка бус коврового узора обвивала шею, а шапочка с посеребренной канителью съехала на ухо, еле удерживаясь на отросших непослушных волосах. Еще не девица из знатного рода, но уже и не разбойница лесная, не приبلуда случайная. Вот только думает она не о том. Или наоборот, о том, о чем и самому бы следовало? Но спросил Бельт про другое.

– А ты и вправду тегина никогда не видела?

Ласка глубоко вздохнула, словно тоже собиралась сказать что-то иное, но передумала. Ответила:

– Один раз было. Когда брат впервые парадом шел, еще до войны, да и то – издали. Тегина тогда вообще мало кто видел, а вот невероятностей болтали много. То про красоту необычайную, то про уродство, тоже необычайное, то про то, что разумом скорбен. Или слишком умен, а оттого и держат взаперти.

– А на самом деле?

– Человек с руками и ногами. В доспехе да на лошади. Размером с большой палец с того места, откуда я видела.

– А брат что рассказывал?

– Ничего. Не успел. Я его, почитай, после парада увидела только года через два. При той памятной стрижке, – Ласка зло дернула себя за челку. – Плохие ты вопросы задаешь, Бельт.

– Извини.

– Да я не о Морхае. Я о тебе. Подумай, чем это все может кончиться. Кам сбежит, у него свои способы, а с тебя за всех шкуру спускать станут, медленно, по монетке в день. Или так же медленно ломать будут. Или...

– Прекрати. Выкинь эту дурь из головы, ясно?

Кивнула, вроде соглашаясь, только в глазах согласия нет. А ведь и вправду может все кончиться именно так, как рассказывает. А может и иначе – все в руках Всевидящего. У Него на самом деле и белого, и черного поровну.

Но сейчас черного было больше: чернело ночью небо, чернели берега, и вода в реке гляделась черной. Дрожали широкие листья кувшинок, лениво шурились на небо бутоны – еще неделя-две и раскроются, растянутся вниз по течению белыми звездами. Терлись друг о друга, перешептываясь, сухие свирельки-рогозины, судача о пропавшей весне. А жабы-то, жабы – рокотали зазывно, с потреском, с переливами. Не жабы – соловьи бесперые.

Ласка легла на мокрую от росы, духмяную траву, дотянулась до водяной глади и замерла.

– Смотри – мальки... А если долго-долго не шевелиться, они щипать начинают. Потому что глупые, не видят, что это не червяк, которого сожрать можно, а человек.

– Который сам их сожрет.

– Точно. И сдается мне, что ты сам тут как этот малек. И не только ты. Показали вам чего-то, и вы рады стараться. Или ты меня за малька держишь? Думаешь, я не вижу, что происходит? Старый хрыч не позволил тебе уехать. Свел с Ирджином, которому передал и тебя, и меня, и Орина. Главное, думаю, Орина, мы же с тобою так, свиту играем. Почему? Что в нем такого? Зачем прятать его здесь? Зачем тратить время и деньги? Зачем учить его обычаям? Речи? Правилам? Танцам? Танцам я бы лучше тебя поучила.

– Поучишь еще.

Дурной разговор, вранье явное. И молчать не лучше, потому как ясно – молчание той же ложью становится. Надо было обратно в Мельши Ласку отправлять вместе с Хэбу и Майне... И нельзя было из-за них же, её собственного желания, тысячи иных причин «за» и лишь одной «против». И теперь эта единственная причина разрослась, расцвела по весне. И вопросами в том числе.

– Бельт, ну куда ты влез?! Не думай, что и сейчас получится отмолчаться! Нет, я требую. Ты думаешь, что хорошо устроился. Ты думаешь, что нужен Ирджину и это навсегда? Удачу за хвост ухватил и теперь хоть в нойоны, хоть в шады, хоть...

Замолчала. Смотрела пристально, только в темноте ее собственные глаза были черны, как треклятая река, и белыми цветами плыли в них отблески Ночного Ока.

– Скоро, – пообещал Бельт. – Скоро я расскажу тебе.

Теплый ветер по воде, яблоневый снег. И к диким демонам заговоры. Завтра. Завтра тоже будет день.

И новый день настал. А потом еще один, и следующий за ним вдогонку. Дни летели, осыпаясь яблоневым цветом. Все было обыкновенно. Все было predetermined.

В ее глазах стучатся бабочки. Лезут друг на друга, дрожат зелеными крыльцами, вот-вот прорвут тонкую границу. Вылетят. Свирепый рой, тяжелый строй, конница крылатая. По взгляду, по следу, отыщут.

Я не близко, но слышу их. Шелест-шелест, скрип едва различимый ухом. Или и вовсе неразличимый, если прислушаться, но они у нее есть. Там, в голове. Я знаю. Откуда? Мне кто-то сказал.

Кто?

Злой старик.

– Ишь как смотрит-то, – шепелявит он, разрывая клюкой солому. – Выглядывает. Тебя выглядывает.

У старика бабочки умерли – муть внутри, пепел перегоревших дней, и это хорошо.

Безопасно.

А бабочки... Бабочек нужно убить.

Злой ветер пришел с юга. Горячий и беспокойный, он сыпал пылью на тугую, ряской затянутую воду в канаве. Растревоженные, клекотали гуси, беспокоились люди, и только хитрый Ябло, выползая за ворота, щурился, нюхал воздух, лениво приговаривая:

– Вот посушит, всех посушит. Пойдет палом, ох пойдет.

Как в воду глядел.

Занялось ночью, в амбаре. Полыхнуло радостно. Загудело, поскакав по остаткам прошлогодней соломы. Рассыпалось алым жаром по стенам, рыча, обгладывая гниловатое дерево. Давясь.

– Воды! – Бельт вылетел во двор. Один взгляд, и понятно: амбар уже не спасти. И птичник тлеет с дальнего угла, дымит, верещит голосами перепуганных птиц.

– Орин, людей выводите! Ставь цепью!

С треском и стоном проседала кровля. Колыхались стены. Роем мошкары вились искры.

– Людей!

– Пошли! Пошли, страхолюды! Шевелитесь, вашу ж мать!

Пинками, криками, ударами – во двор. Оплеухами унять истерику. Не слушать дикова-того хохота Хрызни и Ялкиного бормотания. Тушить. Пока по стеночке частокола, по крышам, по знойному воздуху не добрались огненные мухи до других домов.

Громко, одногласо визжали бабы. Скрипела цепь, дребезжало ведро, падая в колодез. Стонал ворот. Поднимали ведра, передавали по цепочке слабых рук, плескали, кормили пламя

паром. Оно шипело, отплеывалось, расплзаясь больше и больше. Легло на бараки, протянулось, потянулось по-кошачьи, вцепилось коготками в гонт крыши и рвануло.

– Бельт! Инструмент спасать надо! – Ирджин выскочил в одной рубахе. Измазанный сажей, воняющий паленым волосом, страшный, он прижимал к груди свитки. – К реке выходить, тут ты ничего не сделаешь!

Лаборатория пока держалась, ею огонь будто бы и брезговал, примеряясь к иному – к домику зрителя.

– Ласка, на берег! Орин, людей туда гони!

Лошадей спасать, инструмент спасать, себя спасать...

– На стены лейте! На стены!

Слушаются, брызжут. Невысоко выходит, слабо. То ли плачет, то ли хохочет Ялко; продолжают орать блаженицы; вертит ворот Кукуй, выхлестывает в ведра Гулбе. Стоит лаборатория.

– Бельт, Всевидящего ради, если вон там перехватим...

В доме горячо. Воздух жженый лицо сушит. Рубаха затлелась, оберег раскалился, клеймом к коже примеряется. Ничего. Всевидящий да смилуется.

Ирджин бежал вниз, закинув на плечо сундук. Во второй руке – стопка книг, вот-вот выскользнут, поскачут по ступеням. Обернулся быстро. Вдвоем подхватили машинерию, потащили к выходу. В темноте стеклянная маска отсвечивала то алым, то пурпурным, чудилось – радуется этакому веселью. Выволокли во двор. Вернулись. И так еще дважды, а потом, когда пламя-таки подобралось к лаборатории и, прокатившись валом по крыше, дернуло ставенки, случилось чудо – хлынул дождь.

Тяжелые капли застучали по пыли и углям, зашипели, обращаясь в пар. Лизнули обожженную, начавшую вспухать волдырями кожу. Осмелев, развезли сажу по лицу и черную жижу по двору. Ливнем уняли пожар.

– Твоих рук дело? – Бельт сидел на краю колодца. Руки дрожали, плечи ныли, спину ломило, а горло драло от пережженного воздуха.

– Нет, – мотнул головой Ирджин, собирая, закручивая жгутом изрядно опаленные волосы. – Дождь – это не я вызвал. И огонь тоже.

Пламя оседало. Грязные озерца разлились по двору, затопили пожарище, просачиваясь сквозь черный уголь и седой пепел. А на дальнем краю неба светало.

– Хорошо, – сказал Ирджин, запрокидывая голову, пытаясь губами поймать ледяную воду. – Вот в такие мгновения и понимаешь, что жить – хорошо.

Где-то неподалеку раздался крик.

Красные-красные бабочки... Не зеленые – красные. Летают, вьются, воды боятся. Я убиваю стаями, но их слишком много.

Она их выпустила.

Я знаю. Мне сказали. Кто? Человек? Маска? Не помню. Но верю. Она. И еще выпустит. Она не виновата. Она просто не умеет управляться с ними, но я помогу.

– Иди, иди, – хитро щурится злой старик, протягивая заточенный кольишек. – Тихим ходом, дальним бродом...

– Иди, – шепчет маска.

Иду. По следу. Тихо-тихо. Я умею очень тихо. Камень... Камня нету. Плохо. Темно. Дождь. Не искать – уйдет, исчезнет, опять станет далекой. Ничего, я и так справлюсь.

Я почти успел: почувствовала, обернулась, но не замерла, чтобы закричать – нырнула вбок, в ивы, и оттуда уже завизжала.

Нет, не уйдешь. Я быстрее. Я сильнее. Ловлю, сбиваю, кидаю на землю – скользко, мокро. Бью – плохо, камня нету, с камнем удобнее – дергается, вертит лицом. Зажать. Мычит. Смотрит.

Нельзя на меня смотреть!

Нельзя!

Зеленые бабочки расправляют острые крылья. Тот, кто говорил о них, не соврал. Но я исправлю. Поудобнее перехватываю колышек и...

– Отпусти ее! – и сзади становится больно.

Но я успеваю.

– Чуть опоздал... Думал успею, а опоздал, – Орин повторял и повторял, глядя на темную в серой предрассветной дымке траву, на Нардая, лежавшего ничком, на рукоять ножа, что торчала из шеи великана. На Ласку он старался не смотреть.

– Я ж сразу ударил. Как увидел, так и ударил... Думал, он просто хотел, а...

Из правой Ласкиной глазницы торчал короткий, чисто обструганный колышек.левой и вовсе не видно было под жирной чернотой.

– Жива, но... – Ирджин, приложив пальцы к шее, слушал сердце. – Но пока лучше пусть побудет без сознания.

– Я опоздал, – повторил Орин и, наклонившись, вытащил нож.

Не он опоздал, а Бельт. Недоглядел, недодумал, отвернулся и... Что теперь? Пока – пустота и непонимание, как подобное вообще возможно? А Ласка без памяти и еле-еле дышит, лицо в крови. На лицо лучше не смотреть: внутри все переворачивается, захлебываясь бес- сильной яростью. Но некому мстить, некого убивать.

Вдвоем с Орином они подняли Ласку и понесли ко двору.

– Жить она выживет, – Ирджин шел рядом, аккуратно придерживая голову. – Только... Сам понимаешь.

Понимает. Наир без глаз. Без зеркала Всевидающего. Заточили колышек, подстерегли и выкололи.

– И возможно... Только не кипятись, подумай, возможно, милосерднее было бы...

– Добить?

На него злиться сил нету.

– Я могу составить зелье, она просто заснет.

– Убью, – пообещал Бельт.

В провонявшей дымом лаборатории Ласку уложили на широкой лавке. Ирджин, даже не обмывшись, только тщательно протерев руки какой-то жидкостью, занялся ранами. Время растянулось. Скланки и кубок. Обшитая мягкой кожей воронка в сведенных судорогой зубах. Долгий стон и тяжелый сон. Опаленные над огнем щипцы и колышек, который выходил из глазницы медленно, тягуче. Боль. Ее, но как будто своя. Неутоленная ненависть.

Что-то зашевелилось рядом. Ябло. Просунулся в комнату и следил за происходящим, пришептывая:

– Два медведя в одной берлоге не уживутся. Съел? Съел! Не знал броду, полез в воду. Смотрителем стал, тоже мне. Да лучше огнем и палом, чем вору задаром!

Хохот. Понимание, что вот этот старик, назойливый, надоедливый, ревнивый к Стошено посылнее бабы, тоже виноват...

Худая шея сухо хрустнула. Как лед под копытом. Ябло повалился на пол, а под носом появилась чаша. И с ней приказ:

– пей. До дна.

Быстро пришло оцепенение, когда уже все равно. Почти.

– Ирджин, ты кам. А вы ведь всё можете?

– Не всё, Бельт, к сожалению – не всё. Вот и Сарыг, племянник мой, что на байге поломался – умер.

– Но здесь же не так. У вас эман. И големов вы делаете. У големов ведь есть глаза.

– Бельт, Ласка – человек. И теперь на ней дурной знак. Отныне это харусово дело, а не врачебное. Я ничего сделать не могу, понимаешь?

– А кто может? Кто, кроме харусов?

Ирджин бросил щипцы на стол и вытер руки об тряпицу.

– Кырым, – сказал он. – Если хан-кам заставил сердце биться вне тела, то его умения может хватить и на глаза. А может и не хватить. Не знаю.

– Ирджин...

– Я все понимаю. Я напишу. Думаю, он не откажет. Только девушку придется отправить в Ханму. Я родичей попрошу, они помогут с перевозкой.

– Спасибо, Ирджин, спасибо. Я теперь...

– Я все сделаю, Бельт, – кам сжал плечо неудачливого зрителя.

Вернулся Орин, с ног до головы перепачканный кровью и грязью. Коротко кивнул. Еще до вечера куски Нардая скормили свиньям.

Спустя три дня Стошено, кое-как оправившееся от пожара, покинул возок, запряженный гнедой лошадкой. Кроме кучера, на козлах дремала дородная дама с мягким лицом, в хвосте же плелась пара стражников в цветах Кайлы-нойона, старшего брата кама Ирджина.

Тем же вечером в толстой тетради, обитавшей на дне деревянного, слегка подпаленного с одной стороны, сундука, появилась запись:

«...эксперимент нельзя назвать полностью удавшимся, поскольку невозможно определить, сработало ли непосредственно аппаратное внушение либо же иное, человеческого характера. В будущем следует повторить опыт в условиях, по возможности, исключающих постороннее влияние. Весьма возможно, что воздействие имеет место лишь при совпадении его вектора с личными установками, т. е. своего рода углубление бредового состояния».

Внизу умелой рукой был сделан набросок схемы со множеством квадратов и стрелок с приписками. Последняя, кстати, появилась только сегодня и весьма нравилась автору. Прекрасное плановое завершение. По мнению хозяина тетради, этот невзрачный рисунок выглядел страшнее чертежа боевого голема.

Скоро в этом смогут убедиться многие.

Туран

Крапленую карту влет только дураки играют. Настоящий листомет чует не зацепочку и масть, а именно что нужный момент. Без шебуриши крапу держит, по носу его никого не щелкает. Ибо порой выигрши – не громко пернуть, а тихо шыкнуть. Бывает и на сброс главный спрос, а придержал – себя прижал.

Жорник, покойный загляд Охришек.

И маска есть важнейшее средство донесения до зрителя истинной сути предмета и образа. Ибо когда видит он алый лик, то знает, что сие есть выражение гнева, желтый – презрения и гордыни, белый – чистоты духовной, высшей, что свойственна старцам и юношам.

РуМах, «Слово о театре и высоком умении игры»

Три старых дома смыкались стенами, скрывая в густой тени маленький дворик. Где-то за пределами его Ханма, окончательно проснувшись к лету, наполнила городские кварталы криками и шумом, хранила в пыльных сундуках улиц дневную суету, чураясь тишины теплых сонных сумерек. Чурались дворика и прохожие. Случайных тут не было, а неслучайные находили себе иное занятие в домах под алыми крышами.

Тихо. Шуршит вода, скатываясь по старому барельефу, омывает каменных коней и всадников.

Сонно. Шевелят широкими листьями вяза.

Темно. Тенью из тени проступает силуэт.

Ни одна прежняя встреча, ни одна девушка не волновала Турана так. Всего восемь шагов, и он окажется рядом с фигурой в тонком халате. Бледная её рука коснулась мокрой гривы, скользнула по вылизанному водой до блеска крупу.

Голова чуть повернулась. Прислушивается? Или особо хитро выгибает взгляд, пускает его самым краем по-над плечом? А о таком кто-нибудь стихи уже писал?

Давно так не стучало сердце и не сбивало дыхание. А шаги давались тяжелее, чем к голодной сцерхе. И даже тяжелее, чем к сцерхе израненной. Вот и совсем близко. Почувствовался непривычный аромат горькой полыни. Это на миг смешало, почти заставило отступить... Но нет.

Вздрагивает, но не оглядывается. Ждёт.

Но вовсе не того, что будет.

Туран не стал обнимать плечи. Ударил в шею, сквозь дымчатый узор шарфа и только тогда прихватил за рукав, придержал. Чуть приседая, выдернул кинжал. Следующий удар – в поясицу. Шелк бугрился и набухал темным, изнутри по нему стучала тугая струя, прорывалась и выхлестывала, а вот тонкий взрез шерстяного халата, заткнутый лезвием, был почти сухим. Туран отскочил так, чтобы видеть и вход во дворик, и подергивающуюся фигуру.

Сделано. Пусть затихнет. Пусть остекленеют глаза. Чтобы осталась только мертвая муть, уже без человеческого проблеска.

Нельзя подходить, пока глаза не умерли. А значит, придется ждать. Убивать воспомина-

В конце зимы Туран сам себе напоминал тигель, который сняли с огня: бока горячие, но не пережженные; расплав изредка вздыбливается тягучими пузырями, но до готовности ему далеко да и не хватает кое-каких компонентов. Однако холод последних морозов не мог

обмануть – совсем скоро тигель вновь поставят на жаровню и подкинут раскаленных углей. И вот тогда забурлит по-настоящему.

Прощание с Ирджином вышло странное. Долина Гарраха еще во всю шумела балаганами и байгой, а кам уже перепаковал вещи и стоял у полуразобранного шатра.

– Ну что, специалист по животным, – улыбнулся он, – не выйдет нам пока поработать вместе. Придется расстаться. Надеюсь – только на время, ибо я жажду реванша за ту партию в бакани.

Туран только пожал плечами. Уходил единственный человек, протянувший когда-то руку. Уходил человек, крепко взявший за ладонь и приведший на большую жаровню. К Урлаку и Кырымю. К искалеченной склане. К тегину Ырхызу.

– Я обязательно приду к тебе в гости в Ханме, – продолжил Ирджин. – У тебя ведь будет дом. Свой дом, в котором ты заведешь свой порядок и обычай. Мы кинем карты, расставим фигуры, выпьем ва-гами-шен. Поговорим о сцерах и пушках. О том, как хорошо все разрешилось. Но это потом, в будущем. А сейчас я тебя еще кое с кем познакомлю.

Кам махнул рукой, и к шатру устремился мужчина, до того весело болтавший с кучером.

– Это – Паджи.

Ему было не больше тридцати. И он еле сдерживал смех, зародившийся еще у кареты. Чуть посапывал, фыркал и старался не смотреть на Ирджина.

– Спорю на свою шапку, что ты, парень, не разбираешься в лошадях, – обратился Паджи к Турану, стягивая бобровый тымак.

– Ты проиграл, Паджи, – ответил кам. – Перед тобой стоит знаток редких животных.

– Вот так, взял и испортил все, – Паджи нахлобучил шапку, которая оказалась ему чересчур уж велика – видать, не своя, выигранная. – Да знаю я, кто он такой. Только в споре надобно сначала немножко прикормить рыбку, а уж потом... Ладно, пролетело-пронеслись, все равно шанс упущен.

– Теперь, Туран, ты знаешь, кто такой Паджи, – Ирджин оставил упрек без внимания. – А если серьезно, отныне Паджи тебе помощником. Вместо меня. Если что-то понадобится – спросишь у него. Или расскажешь ему, когда будет что рассказать. Равно как и послушаться его кое-где тоже придется. Одним словом, Паджи – твоя ниточка, на другом конце которой сидят умные люди. А потому не вздумай ее дергать по-глупому. Ну и не спорь с ним без необходимости. И даже при особой надобности – все равно не спорь. Бывай.

Кам протянул руку. Туран пожал ее. Медленно, не отрывая локтей от боков и накрыв перевернутой лодочкой ладони. Ирджин подхватил тюк и пошел к карете.

– Спорим на пояс, что обернется?

Обернулся. И выдохнул струю пара, мгновенно растворившуюся в воздухе.

А потом снова была дорога, но теперь верхами. Паджи шутил и спорил на все, что видел. Несколько раз предъявлял разьездам какие-то бумаги и тамги. Трижды случалось срываться в галоп и нестись тропами только лишь оттого, что Паджи что-то показалось. А один раз – и не показалось: их чуть ли не полфарсанга гнали по полю всадники в зеленых накидках поверх тегилев и кольчуг.

– Хурдийцы-каннафы, – пояснил Паджи уже в лесу. – Могли бы попытаться отговориться, но мою рожу тут не всегда тамгой прикроешь. Да и читают они плоховато. А ты, вижу, из тех, кого хлебом не корми, а дай с буквами поиграться.

– Спорю, что тебе об этом Ирджин рассказал.

– Спорю, – хлопнул в ладоши Паджи. – На... На рассказ об этих самых буквах. Неа, не Ирджин сказал. Тут и своих глаз достаточно. Одни над шелком или золотом трясутся, а ты над пергаментом. А поутру поломанные перья в костер кидаешь. И рукав у тебя весь в черном. Ну что, есть? Оно? Тогда говори, что там пишешь.

– Ничего.

– Не ври, я видел.

– То, что я извожу пергамент, еще ничего не значит.

– Не понял?

– Буквы на бумаге – просто буквы. На самом деле в них нет жизни. А значит – я уже ничего не пишу.

– Тьфу ты, так и сказал бы, что вирши слагаешь. Или нурайны. Правда, на хрена тратить на это дорогущий пергамент... Ну да твой кошель – твое дело. Будем считать, что спор разрешен и оплачен.

– Вот и хорошо, – Туран спешился и, зачерпнув снега, протер лицо. – В голове стучит. Раскалывается просто.

Паджи, остановившись, поглядел внимательно, без обычной насмешки, потом отцепил с пояса баклажку и, кинув ее, сказал:

– На вот. От Ирджина. Он говорил, что у тебя, как к Ханме подойдем, с непривычки может. С того, что ты – не местный, говорил. И что если невтерпеж, то хлебани сразу. А если втерпеж, то погоди и будет тебе лечение. Заодно и задницы.

Уже через час Туран глотал напиток со знакомым вкусом лимонника и поглаживал мешочек со смесью. Что бы в ней ни было, но оно помогало – боль растворялась, а в голове возникла удивительная легкость. Еще немного и сами собой строки родятся, как когда-то...

Не родились. Но и это не слишком огорчило.

Ханма начала знакомство с Тураном задолго до городских стен. С полей, просвечивающих под снегом; с участвовавших деревенок и хуторов; с телег и тележек, прорывающихся с боем через сугробы.

Наконец, столица самолично выползла из-за холмов. Неуклюжая и толстая, как баба, не уместившая телеса в каменный халат, наспех перетянутый пояском-речушкой. Дымом дышит, смрадом гнилого рта, ворочается, беспокойная, подзуживая, подстрекая, готовая в ярости давить и чужих детей, и своих собственных. Злые мысли зреют в её голове – Ханме-замке, что высится надо всем этим обрюзгшим телом.

Здравствуй, Безжалостная, принимай гостя из Кхарна. Принес я тебе подарочки от моей прекрасной мамы-Байшарры.

В этом городе колокола молчали. Не гудели они поутру и в полдень. Не стонал басовитым, первым ударом кхарнский Большой Шатер, не подхватывали его голос звонкие Сестрицы из Старописчего переулка, не спешили добавить медного звона Лилейницы, не ухал возмущенно, громко, выбиваясь из хора голосом и ритмом Зеленый Хоста на маяке. Не было в Ханме колоколов и все тут. Вместо этого – разнообразнейшие барабаны, трубы и гортанный вой харусов. А колоколов нет. Не взлетает сердце, поднимая в небо, к Всевидящему, а все больше прибывает к земле ударами думбеков, а немелодичные трубы связывают по рукам и ногам.

Терпи, человек, знай место свое. А здесь – место чужое.

Туран терпел, Туран бы понял жизнь без колоколов, но вот чтобы без книг? Как ни пытался он, за все время не удалось сыскать ни библиотеки, ни даже книжной лавки. Чернилами и пергаментом здесь торговали аптекари да алхимики. Торговцы на все Турановы вопросы лишь удивленно плечами пожимали. И вправду, кому тут нужны книги? Ковер возьмите, господин... Или халат, прямо на месте мерку снимут и сошьют, не смотрите, что одноглаз старый Грах, не годы это – опыт бесценный... Или вот кончар купите... Доспех почти новый... Арбалеты... Упряжь... Мониеты для красавицы, травы ароматные... Амулеты, господин, не проходите мимо! Самонаилучшие. Вот для крепости телесной, а это кровь становится и раны живит! От него и жареная печенка срастается, а живая уж точно... А это если с маслом олив-

ковым смешать, добрый господин, да доспех смазать, то вдвое крепче станет! Болт арбалетный выдержит! Не верите?! Как есть правду говорю, господин, вот доспех, вот арбалет, стреляйте, и пусть позор падет на голову седую, если... Для нагревания воды, всё для наискорейшего нагревания воды... Берите жемчуг скланий, только для вас, господин, только для вас...

Белый, обыкновенный с виду, непомерно дорогой и непонятный. Что с ним делать? Пить, в вине растворив, трижды три года, чтобы обрести бессмертие? Или на шее носить? Паджи только посмеялся и объяснил, что скланий линг – для камов. Иным от него пользы нет, разве что пронесет от этакого напитка. Да и то, среди лавочников из троих двое не лингом, а самокатными – толченый перламутр, жир да известь – жемчужинами торгуют по цене заоблачной.

Поселили Турана в доме на улице Стекольщиков, оставив напоследок связку ключей, две тамги, множество указаний и пожелание удачи.

Первые два дня Туран безвылазно сидел в своем новом пристанище, протапливал комнаты и доедал остатки ветчины. Еще три ушло на осторожные вылазки и четкое осознание того, что он понятия не имеет, как решить главную задачу. Контакт в Ханме нет. Как и разумения, к кому может обратиться невзрачный знаток редких животных, которому требуется контрабандой доставить семь десятков отличных пушек. Тех самых, за продажу которых в Наират по кхарнским законам полагается виселица без всяких шансов на помилование. Только и оставалось, что бродить по городу в поисках захудалой книжной лавки.

На седьмой день, вместе с заунывными трубами и вопросами заявившегося на Стекольную Паджи, пришло отчаяние. Трубы смолкли, Паджи только хмыкнул на фразу, что пока по-прежнему сказать нечего. Положил у дверей сумку с едой и ушел, впервые ни разу не предложив поспорить на что-либо.

А на восьмой день, почти само собой, отыскалось решение.

Его предсказали мыши. Обнаглевшие, сожрали почти весь хлеб, испортили сыр и зачем-то разодрали кожаный тубус с остатками пергамента. Это и определило маршрут очередной вылазки: через потешные дома на малый рынок у ольфийских ворот к аптеке некоего Кошкова. Пускай писание вызывает почти физическую ненависть, пускай листы, испоганенные кривыми строками, летят в огонь, но... Пергамент всегда должен быть под рукой. Вдруг что-то изменится?

– Возьмите кота, – предложил Кошкова, отсчитывая правой рукой сдачу, а левой поглаживая рыжую спину одного из полутора десятков животных. Вопреки прозвищу этот молодой красивый мужчина был явно равнодушен к кошачьим. – Будет мышей ловить.

– Не могу, – пробормотал Туран. – У меня животные... не живут долго.

– Это вы зря. Это, наверняка, случайности. Им просто нужно понимание. И человеческое отношение.

– Иногда многое зависит не от нас.

– А вы о многом и не думайте. Думайте о малом и делайте то, что именно от вас зависит.

Кстати, любезный, вы книгами интересовались...

Туран остановился в дверях.

– Интересовался.

– На перекрестном рынке вчера появился кто-то по книжному делу. Из Лиги вроде. Ищите рядом с аптекой Совуня-старшего. Там рынок беспокойный, приезжих много, но вам как раз и хорошо будет.

– Спасибо, – вот теперь Туран благодарил искренне. А если бы знал, за что благодарит на самом деле, – наверняка бы расцеловал Кошкова и всех его кошек.

Из-под полупустого прилавка, стоявшего на отшибе, вылез сутулый пожилой торговец. Он пах ликопой и держал за хвост дохлую мышь. Впрочем, её он выронил практически сразу, как увидел Турана, хотя и ни капли не изменился в лице.

– У вас есть книги на продажу? – звонко спросил он. – Или сами желаете купить?

– Думаю, найдется то, что будет интересно нам обоим, – только и сумел выдавить Туран.

Торговец накрыл прилавок деревянной крышкой – щелкнул тайный замок – и указал на маленькую палатку позади себя. Туран нырнул внутрь, жалея, что не может завопить от радости.

Ниш-бак, книжник из Шумарры, сильно изменился с той памятной встречи. Если в прошлый раз он выглядел успешным владельцем хорошего магазинчика, разомлевшим и каким-то несобранным, то теперь являл собой типичного бродячего торговца, подтянутого и чуть резковатого, одним взглядом ухватывающего всё важное.

– Здесь можно говорить? – Туран даже не сдерживал улыбки.

Ниш-бак поставил на низкий столик фигурку собаки, погладил ее и кивнул.

– Теперь можно. Но не громко – амулет просто подаст сигнал, если кто-то подойдет к палатке совсем близко.

И в эту минуту Туран понял, что не знает, с чего начать. Язык словно отнялся. Потому он просто сел на низкий ящик, прямо поверх каких-то книг. А Ниш-бак уже наливал что-то прозрачное в кружку.

– Пей. Пей, мой мальчик. И рассказывай. Жив. В Ханме – и жив. Ходишь, книгами интересуешься. Чудо. Это чудо.

– Это – мое умение, – выдохнул Туран.

– Да-да. Несомненно. Умение. Не прогадали. Мы с тобой не прогадали. Хотя тут все зависит от того, что ты смог сделать, мальчик мой. И чего не смог.

– Читайте, что с ящерами смог всё. Но это не главное...

И Турана прорвало. Он быстро говорил и заливал в себя прозрачную кислятину. Родную кислятину из Кхарна. Наверняка виноградники под Зававе. Только у них присутствует такая режущая нота...

Рассказ закончился вместе с содержимым бутылки. Ниш-бак тут же достал из угла кувшин, сорвал восковую крышку и отхлебнул прямо из него. Плеснул и Турану. На сей раз терпкий мускат. К такому бы жирную рыбу в сладком тесте и рисовые колобки, чесноком фаршированные. Проклятье, он уже забыл, каковы те на вкус.

– Итак, мой мальчик, давай подведем черту. Что затея со счерхами будет придавлена, это хорошо. Если, конечно, правда. Но главное: несколько серьезных людей собирают силы для переворота. И не брезгают помощью извне. За что и обещают в будущем свое благорасположение этим самым помощникам. То есть Кхарну. Им нужно всего-то семь десятков отличнейших тяжелых орудий. Эдакая мелочишка для нас, противоречащая здравому смыслу и действующим запретам. Притом, как я понял, сначала назывался конец осени, а теперь вдруг – её середина или даже начало.

– Да, сроки они изменили. Видимо, еще что-то произошло. Или произойдет.

Собака на столе тихо зарычала. Ниш-бак высунулся из палатки, крикнул что-то ругательное и вернулся обратно. Пес снова безмолвствовал.

– Значит, пушки... – протянул Ниш-бак, почесывая шею. – Пушки – это или големы, или осады. Или все сразу. Разумеется, заверения в будущей лояльности мы даже обсуждать не станем. Это просто смешно. Но змеи готовятся кусать друг друга, даже не вылезая из общей корзины. Почему бы не подбросить им туда немножко пороху? Чтоб уж драка так драка. Ты ведь именно об этом думаешь?

– Уже с месяц.

– Тогда сделаем так: через несколько дней я уеду. Тебе придется еще немного...

– Я остаюсь.

Ниш-бак поджал губы и прищурил один глаз.

– Ты изменился больше, чем я ожидал.

– Начнем с того, что вы вообще не ожидали меня увидеть в живых, так ведь? – Туран нарочито аккуратно поставил кружку на стол. – Еще в Шуммаре вы знали, что отправляете меня... в корзину. И были уверены, что меня закусуют там до смерти.

Забулькал кувшин, вино полилось в кружку.

– Если ты ждешь, что я стыдливо отведу глаза или поперхнусь вином – ты ошибаешься, – в подтверждение Ниш-бак спокойно сделал большой глоток. – Туран, у меня не было выхода. И даже не у меня – у Кхарна. Карья погиб, но остался ты. Без серьезного опыта, с минимальной подготовкой и любовью к родному дому. А еще с посылкой за плечами, с первичной завязавшейся связью. Молодой и сообразительный. И да, я поставил на единственную оставшуюся карту. Казалось бы никчемную и слабую, но... Иногда только так и выигрывают в высокий бакани. Осталось лишь разобраться, какой выигрыш мы – да-да, все мы – взяли благодаря тебе. И какой можем взять еще, ибо партия пока не окончена.

– Три месяца назад...

– Три месяца назад ты выслушал меня, собрался в кулак и принял решение.

– Вы не знаете, чего мне это стоило. И чего стоили последствия этого решения.

– И не хочу знать. Это – твоя цена. А мне хватает собственных счетов.

Он говорил правду, но до чего же она была мерзка! Почему тогда не объяснил? Ведь можно было как-то, чтобы не вслепую, как щенка, а... А как? Как-нибудь. Если Ниш-Бак думает, что нынешняя встреча все грехи ему отпустит, то ошибается.

Больше Туран не будет фигурой на чужой доске: он уже свою доску составил. И первые ходы в партии сделаны.

– Значит так, – начал Ниш-бак, – в кратчайшие сроки я свяжусь с теми, кто примет решение и сможет подготовить операцию. Связь будем держать через Вестника, которого будешь встречать... Город уже изучил? Нет? Тогда с местом определимся позже. С паролями и блокировками тоже. Скорее всего, в ближайшее время будет организована первая пробная партия груза. Способ доставки предстоит продумать: два десятка тонн бронзы это не шкатулка с безделушками. Но это и не твоя печаль. Скорее всего, тебе просто придется согласовывать ряд деталей с... заказчиками и встречать первый груз. Вместе с ним наверняка пришлют и сменщика. Не переживай, парень, осталось совсем немного.

Под ногами прощуршала мышь.

– Вот ведь заразы, словно преследуют меня, – проворчал Ниш-бак, дергая ногой, но мышь оказалась проворнее. – Мне нужно еще два дня, чтобы завершить дела в Ханме. После этого ты проведешь еще три дня от рассвета до заката на рынках и в беготне по городу. Суй свой нос во все углы и щели, только не перегибай палку. После этого сообщишь этому Паджи, что шестеренки закрутились, но без подробностей, хотя он и будет настаивать. Ну а дальше – проверь Вестника и не отсвечивай. Жди, готовься, собирай в руках максимум нитей. Обо всем доложишь сменщику. Еще раз расскажешь ему всё вплоть до истории с тегином и лепешкой. Пусть разбирается, что к чему.

– А я?

Вот так всё отдать новому игроку? Просто отдать? Словами, которые даже не ложатся на пергамент? Не дымом костров, не холодом, не кровью на снегу, не ненавистью, которая почти сожгла, а просто словами доклада... А как отдать память? Она теперь как выгребная яма, где всего в досталь. Правда, и на дерьме растут цветы, вот только высадит их кто-то другой. Чистый. И до конца останется чистым. Героем. А Туран?

– Отправишься в Байшарру, домой.

Домой. Вино, красное и белое, кислое и терпкое. Спокойная жизнь. И понимание, что все-таки не сумел. А тот, другой, придет и высадит цветы, и соберет букеты славы.

– Пока же укрепляй свою маску, господин знаток редких животных, – порывшись в одном из сундуков, Ниш-бак вытащил две книги. – Вот здесь кое-что по твоей новой профессии. Думаю, лишним не будет. А теперь иди. И да прибудет с тобой Всевидящий.

Туран прижал к груди сверток и кивнул на прощание человеку, который последним протянул ему руку в той старой жизни. И впихнул его в жизнь новую.

И который хочет повторить уловку.

Паджи действительно задавал много вопросов, но не давил. А в какой-то момент он и вовсе свернул разговор на новую тему, помянул Агбай-нойона и грядущий праздник, такой, которого Ханма давно не видала. А после, хитровато прищурившись, заметил:

– У тебя, паря, завтра важный день. Щеки побрей, а то зарос весь. И волосы тебе уже укорачивать пора. А ладно, чего не сделаешь для хорошего человека.

Порывшись в сумке, Паджи достал деревянную коробочку с цилиндрами в мизинец толщиной. Подцепил один за кожаный хвост, продемонстрировал:

– Вот тут зажимаешь, поворачиваешь, и вешаешь на крючок. Держи. На твое корыто и одного довольно будет. Только сотри, не сварись и без воды их не оставляй, иначе спалишь дом.

Так вот зачем в темный камень ванной ввинчена цепочка из крючков. И не надо воду в тазу греть.

Пока Туран мылся – задубевшая наирским загаром кожа медленно отходила в горячей воде – Паджи полазал по дому, собирая нехитрый набор для стрижки и бритвы.

– Во! На человека похож стал. Садись, сделаю из тебя, пучеглазого, настоящего красавца, раз уж повод...

И разомлевший Туран подхватил подставленную паузу, заполнил вопросом:

– Что за повод?

– В Ханму-замок тебе дорога. В тегинов зверинец. Послужишь ясноокому.

На лицо легла горячая тряпка, и стало трудно дышать.

Еще чуть-чуть и на голову бы напялили мешок. Во всяком случае, именно так казалось, когда Турана вели по двору замка. Двое рослых кунгаев едва не под руки волокли, а Паджи неся впереди, изредка насканивал на разодетых нойонов, что-то им торопливо объяснял и тряс грамотами. Неизменно после этого на него и кунгаев небрежно махали руками и плетьюми, и эскорт двигался дальше. Позади остались двое ворот и полудюжина дверей, бесчисленные переходы и внутренний двор-колодец. Потом еще один и углы-углы-углы разных построек. Главная глыба замка напирала на все это сверху, но стояла вполне себе уверенно. Такую не расшатать полусотней пушек. Или расшатать? Ведь пушки – лишь часть чего-то большего. И бить наверняка будут в тайное и слабое место. И хорошо бы, чтоб били крепко. Пусть умоется кровью Беспощадная, пусть ярится пуще прежнего, давит и жрет детей своих.

Снова зануло в висках: забыл с утра заварить себе травок, задурманить голову, закутать ее ароматами лимонника и мяты. Теперь все воспринималось остро – и вид замка, и его запахи.

Мелькнула над крышами спица Понорка Понорков, самой верхушечкой, кривой и какой-то пронзительно белой по сравнению с основной кладкой построек.

Долго обходили донжон, пока не попали в крытый дворик, обнесенный высоким забором. Эдакая малая крепостишка внутри большой. Но, как оказалось, забор служил для защиты именно большой крепости и именно от малой. Он надежно припирал к стене просторный загон, который Туран узнал без труда по слежавшемуся селу и песку да непобедимому запаху влажной шерсти и мочи.